

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ



УБИЙСТВО ГОРОДОВ

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Он всплывал из сна, как подводная лодка из тёмных глубин. В этой зыбкой тьме клубились видения, проплывали земли, струились лица, размытые, как в тусклых зеркалах. И каждое рождало страх, или нежность, или раскаяние, или влечение, и они тут же забывались, уносились потоками сна. Вся ночь превращалась в череду непрерывных свиданий. Встречи с любимыми прерывались появлением незнакомцев, иногда столь живых и уродливых, что он просыпался со стоном.

На этот раз среди бесчисленных встреч состоялось свидание с женой, из той восхитительной поры, когда она в своём свежем ликующем материнстве предстала в белизне то ли ночной рубахи, то ли прозрачной занавески, за которой, невидимый, цвёл куст жасмина, и играли дети.

Дмитрий Фёдорович Кольчугин поднимал с кровати своё старое тело, приводя в движение каждую мышцу отдельно. Усилием воли заставлял двигаться ноги, спину, затёкшие плечи, вспоминая, как в молодости одним счастливым толчком выбрасывал себя из кровати, перемещаясь из сна в сверкающий мир.

Он спустил босые ноги на пол, и перед ним возник кабинет, в котором он спал на диване. Два окна, полные зелени солнечного утреннего сада.

ПРОХАНОВ Александр Андреевич родился в 1938 году в Тбилиси. Окончил Московский авиационный институт. Автор многих книг прозы и публицистики, романов "Чеченский блюз", "Красно-коричневый", "Идущие в ночи", "Господин Гексоген", "Крейсерова соната", "Человек звезды", "Время золотое". Живет в Москве.

Книжная полка, сплошь уставленная написанными им книгами. В скромных переплётках — из советских, пуританских времён, когда избегали яркого цвета. И нарядные, помпезные — последних лет, с красочными корешками, которые должны были привлекать покупателей, как цветы привлекают пчёл. Вся его огромная жизнь уместилась в книгах с описанием войн, переворотов и революций, среди которых он жадно и страстно творил летопись отпущенных ему “временных лет”. Верил, что Господь удерживает его на земле ради этой вменённой ему работы.

Стол с компьютером был аскетически строг, без бумаг, безделушек. Компьютер давно не включался. В нём хранился случайно залетевший туда отрывок текста. Так в кусок янтара залетает случайный пузырёк воздуха, чтобы остаться там навсегда.

Во всю стену в пятнах солнца сиял иконостас, составленный из икон, которые он собирал в молодости, путешествуя по северным деревням в поисках утраченного русского рая. Среди алых и голубых плащей, смуглых лиц и золотых нимбов отыскал образ Димитрия Солунского, своего небесного покровителя. Помолится ему бессловесной молитвой, отворил сердце и выпустил в него лучезарного воина.

Отдельно стояла полка, уставленная трофеями его былых походов. Афганские вазы из лазурита и яшмы. Африканские маски из чёрного дерева, инкрустированные перламутром. Эфиопский крест, напоминавший медные кружева. Чучело никарагуанского крокодила с зубастой пастью. Всё это было покрыто пылью, ибо в доме не было женской руки, оберегающей сокровища прошлого.

Он принял душ, промывая складки тяжёлого полного тела, и долго растирался мохнатым полотенцем, желая вернуть бесчувственной коже розовый жар. Стоял перед зеркалом, недовольно разглядывая свои пепельные волосы, сумрачно сжатые брови, узкие, с тусклым светом глаза. В горьких морщинах у носа и рта, как в желобах, текли реки разочарования и иронии. И сквозь это выцветшее лицо вдруг брызнул его молодой лик, счастливый и пылкий. Так иногда в лучах вечернего солнца загорается на церковной стене чудом уцелевшая фреска.

Он вскипятит чайник и пил кофе, глядя на большую фотографию жены. Жена внимательно, нежно, с лёгким состраданием наблюдала его одинокий завтрак. Снимок был сделан перед самой её болезнью, и в ней ещё сохранялась благородная женственность, поздняя красота и несломленное болезнью достоинство. На её открытой белой шее красовалось фамильное гранатовое кольцо, словно брызги тёмно-алого сока.

Он не мог слишком долго смотреть на портрет, ибо сердце начинало стонать, и приближались рыдания.

Сегодня был государственный праздник, День России, и он был зван в Кремль на торжественный приём. Предстояло выбрать чистую рубашку из стопки, что пригодила дочь. Извлечь из шкафа парадный костюм. Начистить до блеска туфли. Всё то, в чём прежде помогала жена и что теперь давалось ему с трудом.

Над столом висели большие часы с бегущей секундной стрелкой. Приближалось время утренних новостей, и он пошёл включать телевизор.

Экран глянцевитый, чёрный, как ночное озеро. Пульт с маленькой красной кнопкой. Кольчугин боялся её нажать. Боялся зажечь экран, испытывая страдание, какое испытывает пациент при виде скальпеля. Будущий порез начинал болеть, и плоть трепетала, предчувствуя прикосновение стали. Так трепетала его душа, ожидая разноцветного изображения на экране.

Это была пытка, которой он себя подвергал каждое утро, когда смотрел новости с юго-востока Украины. Нажал кнопку, словно лёг на операцию без наркоза.

Журналист с утомлённым лицом обречённо сжимал микрофон с надписью “Россия”. Показывал последствия артобстрела на жилой квартал Донецка: проломы в стене, искорёженная арматура, воронка в асфальте.

Кольчугин, сидя перед телевизором, вдруг ощутил знакомое жжение в ноздрях от едкой гари, услышал хруст стеклянных осколков, на которые

наступала нога. Осторожно обходил воронку и липкую, начинавшую густеть лужу крови. Украинский вертолёт, как каракатица, выпускал дымные трассы, и Кольчугин слышал железный скрежет снарядов, скребущих землю, видел польхнувший взрыв, сметающий дома. Ополченец в казачьей папахе бил из амбразуры по невидимой цели, и Кольчугин видел фонтанчики гильз, которые скакали по паркету его комнаты. Латунная гильза ударила его в щеку и обожгла.

Шли кадры, на которых двигался железнодорожный состав, уставленный украинскими танками. Их туманная вереница вызывала ломоту в зубах, стальная мощь танков была нацелена на папаху ополченца, на его постукивающий автомат, на его обречённую жизнь.

Показывали беженцев, прибывших в Россию из разбитых городов. Молодых женщин с голыми плечами в летних сарафанах, солнечных младенцев с белокурыми головками. И снова танки, пикирующие штурмовики.

Кольчугин не мог слышать очередное заявление министра иностранных дел, который требовал от Киева прекратить кровопролитие, осуждал бесчеловечный режим. Негодование Кольчугина вызывал не столько бесчеловечный украинский режим, сколько пресные, изо дня в день повторяемые увещевания министра, под укоризны которого убивали людей Донбасса. Много дней подряд, танками, гаубицами, установками залпового огня убивали беззащитных жителей города.

Кольчугин выключил телевизор. Лежал обморочно в кресле, слыша, как кувыркается сердце, готовое сорваться в жестокую аритмию.

Он не мог разгадать смысл операции, которую осуществляли центральные телеканалы, изо дня в день показывая гражданам убийства русских, сопровождая эти убийства неискренними вялыми заявлениями МИДа о защите русских в любой части света и любыми средствами. Бойня русских проходила по соседству с Россией, в Донбассе. Детские гробы и надгробные рыдания рвали сердце. Но не было ввода российских войск, громивших убийц. Не было точечных ракетных ударов, уничтожающих украинские гаубицы и “Грады”. Не было “бесполётной зоны” над Донецком и Луганском, когда каждый бомбящий города штурмовик, каждый атакующий вертолёт сбивались бы огнём ПВО.

Всё это копил в народе ненависть и разочарование. Ненависть к предателям “русского мира”. Разочарование и унылую злобу, в которых меркло лучезарное солнце Крыма, воссиявшее в каждой русской душе и теперь потускневшее.

Кольчугин смотрел на чёрный экран, в котором погасли ядовитые пятна. И его душа стремилась вслед за исчезнувшим изображением. Хотела слиться с электронной волной, бестелесно промчаться в эфире и вновь облечься в плоть. Очутиться рядом с ополченцем в казачьей папахе, увидеть его потное усатое лицо, латунные россыпи гильз на полу.

Там, в этих убиваемых городах, было его место. Там продолжалась череда войн и революций, свидетелем которых он был всю свою долгую жизнь. Писал их жестокую хронику. Составлял летописный свод. Там, в Донбассе, надлежало ему продолжить труд летописца. Труд портретиста, который пишет предсмертные портреты убиваемых городов.

Его порыв, страстный, стремительный, был остановлен ударом в грудь, где больно набухло сердце и бессильно опало. Душа ударилась о чёрный экран телевизора, как ударяется о стекло залетевшая в комнату птица.

Он был немощен, стар. Его плоть была изъедена хворьями. Он больше не мог, согнувшись, перебегать под обстрелом. Не мог протискиваться в узкие люки бронемашин. Не мог спать без таблеток. Не мог без них одолевать головокружение и боли в груди. Его время прошло. Прежде он был писателем “поля боя”, но теперь ему не было места в сражении. В городах, которые погибали, не было художника, и их смерть в потоке времён будет забыта.

Он смотрел на портрет жены. Как бы она сейчас рыдала и убивалась, глядя на жестокий экран... Как бы молилась в церкви! Как бы ходила по дворам, собирая вещи для беженцев...

“Милая, милая!” — шептал он, глядя на фотографию.

Теперь, когда его жизнь завершалась, ему следовало укротить клочущую страсть, остановить погону за ускользающим временем. Ибо мир изнурительно повторяет себя в непрерывных войнах, восстаниях, крушениях царств. Среди этих взрывов и скрежетов, которыми наполнилось его творчество, не слышна была тихая молитва, робкое упование, кроткое смирение. Но теперь, на исходе жизни, к этим тонким звукам и потаённым шёпотам должна была обратиться душа перед тем, как унесётся с земли.

Он старался вспомнить недавний сон. Чистая летняя комната. Белая занавеска волнуется от сладкого ветра. За окном — благоухающий куст жасмина. И жена — молодая, прекрасная, обнимает детей.

Кольчугин поднялся. Приблизился к портрету жены. Поцеловал ей глаза.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Его приглашали в Кремль на государственные празднества, инаугурации, торжественные выступления президента. И это после долгой опалы, когда он, “певец красной страны”, отверг власть, погубившую государство. Он стал непримиримым оппозиционером. Оставил писание романов и в хлёстких, беспощадных статьях клеймил отступников, совершивших четвертование Родины. Его исключили из числа именитых персон. Подвергли гонениям. Предали анафеме его книги. Назвали личностью, которой не подадут руки. Его утончённо и искусно убивали, объявив бездарью, окружив его имя глухим молчанием.

Однако в Кремле поменялись хозяева. В их лицах, изуродованных революционным взрывом, начинали проступать черты исконной власти, призванной управлять континентом Россия. Новый президент, балансируя среди враждующих групп, на руинах разгромленной страны стал строить новое государство.

Кольчугин приветствовал это строительство. Содействовал ему своими статьями. Пророчил соединение разъятых пространств, союз разрозненных народов. Постепенно вернул себе репутацию “певца государства”. Недавние кумиры, желавшие ему смерти, были отодвинуты, и на освободившиеся места возвращали опальных.

В роковом 93-м, когда в Москве стреляли и горел Дом Советов, Кольчугин бежал в леса, спасаясь от ареста. Он был баррикадник, соратник восставших вождей. И пока их отлавливали и свозили в тюрьму, Кольчугин жил у друга среди осенних лесов. Они горевали, пили злую водку, пели русские горючие песни, ожидая, когда в избу постучат каратели.

Казалось, это было недавно. Теперь же Кольчугин ехал в Кремль как гость президента.

Шофёр предьявлял пропуск постовым, те отдавали честь. Кольчугин надеялся среди звона бокалов, картинных, напоказ, объятий и поцелуев услышать речь президента. Найти в этой речи ответ: что станет с восставшими городами Донбасса? Забыют ли их до смерти на глазах онемевшей России? Зачем телевидение пытается народ, показывая, как калечат и пытаются русских, ставят на колени среди площадей? И когда настанет конец этой пытке, русские танки ворвутся на Крещатик, и обугленные города Донбасса избегнут смерти?

За этим ехал в Кремль Кольчугин, испытывая ноющую боль, словно в груди двигался крохотный осколок, медленно подбираясь к сердцу.

Он приехал в Кремль раньше, до сбора гостей. Тяжело поднимался вверх от Кутафьей башни, неуверенно, слепо ставил ноги на брусчатку, чёрную, как чугунные отливки. Среди дворцов и соборов были поставлены белые островерхие шатры. Дымилась жаровня, сверкало стекло, расхаживали служители в белых сюртуках и перчатках. Но доступ к шатрам был ещё перекрыт, и Кольчугин, минуя табор, вышел на Ивановскую площадь. Чешуйчатую, как солнечная застывшая рябь, её обступали белоснежные соборы, похожие на ледяные громады. Казалось, купола в серебре и золоте чуть колышутся, как воздушные шары, готовые взмыть в синеву.

Всякий раз, с малолетства, глядя на Кремль, Кольчугин чувствовал, как у него замирает дыхание. Не от восторга, не от благоговения — от ощущения чего-то незыблемого, искомого, как аксиома о параллельных прямых, которые не пересекаются в бесконечности. Кремль не подлежал переменам, находился в глубине всех явлений, обладал неподвижностью ядра, вокруг которого на разных скоростях и расстояниях вращается множество событий, люди, исторические времена, цари и вожди. И он сам влетел в сверканье куполов, чтобы промелькнуть в их волшебном сиянии и исчезнуть.

Он стоял на брусчатке перед белым Архангельским собором, наслаждаясь одиночеством. Старался точнее выразить свои ощущения. Возник образ молока в кувшине, сберегающем прохладу и белизну среди раскалённого пекла.

Увидел, как через площадь приближается человек. Маленький, в чёрном костюме, прихрамывая, скосив к плечу продолговатую голову. Макушку прикрывала тёмная кипа. Кольчугин узнал раввина Карулевича, с которым встречался иногда на приёмах и в общественных собраниях.

Карулевич приблизился, затоптался на месте большими башмаками, поднимая глаза к золотым куполам.

— Что я вам скажу. Здесь, в Кремле я чувствую себя русским. Вы мне ответьте, разве я, еврей, не могу чувствовать себя русским?

— Наверное, в Кремле каждый чувствует себя русским, — Кольчугин глядел на коричневое, болезненное лицо раввина, на котором бегали измученные глаза.

— Нет, вы мне скажите, почему я плачу, когда вижу по телевизору, как в Донбассе убивают русских? Разве мало было еврейского холокоста, чтобы теперь устраивать холокост русских?

— Украинские олигархи, насколько мне известно, в своём большинстве евреи. Они объединились с бандеровцами и их руками убивают русских Донбасса.

— Это не евреи, не думайте так говорить. Они не помнят, что в Киеве есть Бабий Яр. Они делают всё, чтобы снова в мире убивали евреев — и в Киеве, и в Берлине, и в Каире. Русские те, кто погасил печи Освенцима, и евреи благодарны русским. А те, кто убивает русских в Донбассе, не евреи и никогда ими не были. Может быть, они ходят в синагогу, но они не евреи.

Карулевич озирался на соборы, на их белоснежную красоту, словно хотел убедить их в искренности своего страдания. Золотые купола сияли над маленькой бархатной кипой, и казалось, внимали ему.

— Нет, вы мне скажите другое. Разве наш президент не русский? Разве он не плачет, когда видит, как в Донбассе убивают людей? Разве у него железное сердце? Почему я, простой раввин, хочу увидеть русских солдат на улицах Донецка? Почему он не хочет? Вы мне можете это сказать?

— Не могу, — ответил Кольчугин.

— И я не могу.

Карулевич горестно вздохнул, тоскливо посмотрел на золотые купола и засеменял, зашаркал по брусчатке к белым шатрам, где уже начинали пускать гостей. Словно там ожидал услышать слова утешения.

На входе в табор стояла рамка металлоискателя. Гости послушно выкладывали на подносики мобильные телефоны, очки, связки ключей. Кругом белели шатры, словно в центре Кремля кочевое племя разбило стойбище. Дымилась жаровня, румянились шашлыки. Служители в белых колпаках накладывали на тарелки рыбу, парное мясо, бараньи ребра. Под острый нож попадали фиолетовые щупальца осьминога, розовая мякоть лобстера. Официанты разносили шампанское. Другие предлагали водку, коньяк, вино. Гости устремлялись к жаровням, жадно и весело расхватывали снедь, глотали напитки. Усаживались за столики под матерчатými зонтиками.

Дым, запах мяса, гомон, смех. Возбуждённые лица депутатов, сенаторов, объятия, поцелуи.

Отдельно от столиков под белым балдахином был накрыт стол для президента, премьер-министра, спикеров Совета Федерации и Государственной Думы, Патриарха Всея Руси. Пространство перед столом пустовало. Его обе-

регали молодые люди в туго застёгнутых пиджаках с выющимися проводками на бритых затылках.

Кольчугин, чувствуя слабость в ногах, уселся за столик, поставив перед собой бокал шампанского. Наблюдал вязкое кружение жующих, гомонящих гостей. Они переносили от столика к столику слухи, сплетни, весёлые анекдоты и злые шутки, среди которых каждый хотел уловить важную для себя новость, полезный намёк, опасное для карьеры веяние. Все исподволь взглядывали на балдахин, ожидая появления президента, его торжественной речи.

Кольчугин, как и все, ждал этой речи. Полагал услышать в ней объяснение чудовищному промедлению России, допускающей убийство русских в Донбассе.

Мимо прошёл, окружённый свитой соратников, лидер коммунистов. Вальяжный, загорелый, источая благодушие, одаривая всех открытой улыбкой, готовый к дружескому общению. Его взгляд метнулся в сторону балдахина, обрёл на мгновение тревожную зоркость, вопрошающее нетерпение.

Прошёл лидер либеральных демократов. Крутил во все стороны подвижной головой, играл язвительной улыбкой, мерцал цепкими ястребиными глазами. Глаза скользнули вдоль балдахина, на секунду пугливо остекленев.

Кольчугин смотрел, как проходят мимо губернаторы, главы корпораций, олимпийские чемпионы, генералы в мундирах. Появились величественные митрополиты с драгоценными панагиями, муфтии в рыхлых белых чалмах, хасиды в чёрных шляпах, с горделивыми бородами. Известный детский врач приобнял своего друга, знаменитого кардиолога. Учёные и директора заводов, музыканты и народные артисты.

Это был цвет государства, его оплот и опора, объединённые вокруг президента. Того, чью речь они так спешили услышать. Того, кому искренно и верно служили. До той поры, пока вдруг не ослабнет их кумир, ни сместится центр власти. И рядом не возникнет другой, набирающий силу кумир. И тогда все они начнут метаться, перебегать от одного центра к другому, оставляя недавнего повелителя в одиночестве. Обрекут его на гибель, торопясь прильнуть к новому благодетелю.

За столик Кольчугина один за другим подсаели художник Узоров, политолог Лар, журналист Флагов, историк Муравин — все именитые, отмеченные заслугами, умеренные патриоты. Забыли то время, когда шарахались от Кольчугина, чураясь его оппозиционных воззрений. Они принесли с собой рюмяное мясо, зелень, рюмки с вином и водкой.

— Потесним Дмитрия Фёдоровича в его гордом одиночестве, — политолог Лар угощал Кольчугина шашлыком — простодушный, курносый, похожий на дворового мопса. И только глазки, умные и пронзительные, буравили Кольчугина.

— Прекрасная ваша статья о русском языке, Дмитрий Федорович, — Узоров в рубашке с бантом, длинноволосый и смуглолицый, поднял в честь Кольчугина бокал с вином. — Вы сказали, что русский язык — это тот, на котором каждый прочтёт на камне своё имя, дату своего рождения и смерти. Прямо мурашки побежали!

— Рано ещё писать имя на камне, Дмитрий Фёдорович, — бодро заметил Флагов. — Хочу прочесть ваше имя на обложке новой книги. Над чем сейчас работаете?

— Романы Дмитрия Фёдоровича — это хроника новейшей истории. Должно быть, уже начали роман о событиях в Донбассе? — Муравин, с полным, сдобным лицом, позволил себе лёгкую иронию, хотя был автором хвалебной рецензии, в которой разбирал роман Кольчугина о чеченской войне.

— Чёрт знает, что творится в Донбассе, — Узоров обжегал всех взглядом, желая убедиться, что находится в кругу друзей, разделяющих его недоумение. — Русского Ивана бьют, дупят по башке. Бомбят почём зря эти укры чёртовы — откуда только взялись? А мы сопли вытираем. Пальчиком грозим. Плохие мальчики, перестаньте! Был бы Сталин — в два часа танки до Киева! А то и до Львова! А то и до Варшавы! Сколько можно русским плевки терпеть? Вести войска!

— Рассуждаете пылко, эмоционально. Как и следует живописцу, — Лар снисходительно, хотя и с симпатией, возразил Узорову. — А ядерную войну

не хотите в ответ на танки? С Америкой воевать готовы, которая в тысячу раз нас сильнее? От ваших картин одни угольки останутся. — Лар направил на Узорова сведённые к переносице глаза, нацелил заострённый нос и стал похож на дятла, который выбирает на дереве место, куда вонзить серию долбящих ударов.

— Не надо пугать атомной бомбой! Ядерную кнопку никто не нажмёт, ни они, ни мы, — раздражённо возразил Муравин, кольхнув двойным подбородком. — Хуже другое. Каждый убитый в Донбассе русский гасит солнце Крыма, которое возшло над Россией. Гасит солнце президента. Как бы не пошатнулась его популярность! Общественное мнение, знаете ли, ветрено, вероломно. Сегодня его называют Великим Русским, повенчавшим Крым с Россией. А завтра начнут шептать, что он предал русских, — последние слова Муравин произнёс шёпотом, вжав голову в плечи, опасливо оглядываясь на проходящих гостей. — Но ведь мы-то с вами так не считаем! Мы-то понимаем мотивы президента, — тем же пугливым взглядом Муравин обвёл собеседников, поспешив запить неосторожные слова французским вином.

— Мотивы одни, господа, — лицо Флагова, когда-то красивое и порочное, блиставшее на телеэкранах, теперь испитое и тусклое, напоминало мертвенную осеннюю луну. — Если мы вслед за Крымом присоединим ещё и Донбасс, наша экономика лопнет, как гнилой баллон. Мы не потянем, пупок разорвётся. Не сможем кормить миллионы оголодавших безработных шахтёров, которые, чуть что, начинают стучать касками. А ведь теперь у ополченцев не отбойные молотки, а “калашниковы”. Их больше не загонишь в шахты, они выставляют блокпосты на Арбате. Правильно я говорю, Дмитрий Фёдорович? — он воззрился на Кольчугина, и на его выцветшем лице, словно его потёрли бархоткой, проступили черты порока.

— Если мы допустим, что их убьют, то их кровь будет на нас, — глухо ответил Кольчугин, чувствуя, как боль тонкими струйками течёт от сердца в другие части тела. Так по небу струятся волокна близкой грозы, невидимой за лесами.

“Президент откроет смысл операции, вдохнёт надежду, развеет тягостные подозрения”, — так думал Кольчугин, связывавший с президентом свои надежды, свою репутацию и доброе имя.

— Напрасно, господа, мы ждём от президента решительных действий, как в случае с Крымом, — журналист Флагов неряшливо оттопырил фиолетовую губу. — Президент остановлен. Его остановило ближайшее окружение, которое сядет сейчас вместе с ним за стол. Мы же знаем, что оно молится на Америку и говорит президенту: “Не рыпайся, а то споткнёшься”. Вы посмотрите внимательно: зреет заговор. Он чувствует себя в западне.

Кольчугин ждал появления президента. Ждал его речи, в которой найдётся ответ на мучительную загадку. Желал увидеть его лицо, ещё недавно сиявшее в Георгиевском зале среди хрустальных люстр и беломраморных плит с золотыми именами гвардейских полков. И зал вставал, бушевали аплодисменты. Он говорил, что Крым вернулся навеки в родную русскую гавань. Что русские своих не бросают. И все обожали его озарённое лицо.

— Он все ещё хочет понравиться Западу, — Флагов сморщился, словно в рот ему попала горькая ягода. — Он хочет задобрить Америку, но ему уже вынесли приговор. Если он даст слабинку, его уничтожат, как уничтожили Милошевича и Каддафи. Только вперёд! Наступать, наступать! Иначе он покойник, да и мы вместе с ним!

— Не спешите с выводами, мой друг, — с загадочным видом произнёс историк Муравин. — История умнее нас. Русская история умнее, чем НАТО. Мы ещё увидим разный удар президента.

В воздухе что-то щёлкнуло, и металлический голос нараспев возвестил среди шатров и золотых куполов:

— Президент Российской Федерации...

И все отвлеклись от переполненных яствами тарелок, винных бокалов. Как подсолнухи, обратились все в одну сторону — к белому балдахину. Там уже стоял президент, окружённый сподвижниками.

Кольчугин неясно различал лицо президента. Сжатые брови, узкие, напряжённые губы, заострённый подбородок и скулы. То знакомое выражение,

когда страсть и энергия рвались наружу металлическим звоном слов, искрящим блеском глаз. Тогда его речь разносилась по миру, как манифест государства, которое одолевает ещё один рубеж становления, сбрасывает ветхую кожу, сияет доспехом. Сейчас государство вновь оказалось перед грозной чертой. Возвращало себе отторгнутые территории. Обретало веру в неодолимую русскую силу.

Кольчугин ждал манифеста. Ждал слов, подтверждающих эту веру.

— Дорогие друзья, соотечественники, — раздался знакомый голос. Кольчугин вслушивался, стараясь выделить живые биения из мегафонных шелестов. — Поздравляю вас с замечательным праздником — Днём России.

Произнесённые тусклым голосом слова обесценивали значение праздника, делали бесцветным слово “Россия”. Не было восторженного металлического звона, искромётного взлёта. Сухое, пергаментное, блеклое слово обессилило Кольчугина. Кремль с золотыми куполами и медовыми дворцами казался нарисованным на картоне.

— Наша Родина создавалась многими поколениями наших предков. Создавалась великими усилиями и жертвами. В создании Российского государства принимали участие все народы нашей страны.

Слова были обыденные, потерявшие цвет, как стиранное много раз полотенце. Их использовали для рутинных выступлений и казённых речей. Переносили из одной речи в другую. Помещали в заранее отведённые места, как детали на конвейере серийных изделий. Кольчугин болезненно слушал.

— В нашей жизни бывает много трудностей, но и много свершений, побед. И трудности, и победы объединяют нас, и мы дорожим нашим единством.

Шелестящий легковесный сор сыпался на голову Кольчугина, сострадавшего ужасам и страданиям Донбасса. Под грохот гаубиц. Среди красных гробов. Истошно кричащих женщин. Русских пленных, которых ставили на колени среди поверженных площадей. И от этих зрелищ, неустанно поставляемых телевидением, рыдала вся Россия. Умоляла и кляла президента.

— Мы верим в наше будущее, в наши моральные ценности, в наше единство, в процветание нашей России.

Кольчугина поражала ничтожность слов, мертвенность языка, вялость интонаций. Словно президент находился под гипнозом и повторял внушённый ему мертвенный текст.

— С праздником, друзья! За Россию!

Все аплодировали, взволнованно поднимали бокалы. Некоторые приближались к балдахину настолько, насколько позволяла охрана. Там были генералы, знакомые Кольчугину по чеченским войнам. Дипломаты, с которыми он встречался на международных форумах. Артисты, приглашавшие его на свои спектакли. Все кружились, сталкивались, перетекали один в другого, словно жидкое стекло.

Кольчугин качнулся. В его горле начинался крик, который перешёл в хриплый клёкот, в жалобный стон. Он обмяк на стуле. В грудь его словно кинули раскалённый булыжник.

За столом никого уже не было. Его недавние собеседники кружили в людских водоворотах, с кем-то обнимались, насмешничали. Судили и рядили, попутно решая свои суетные дела. Никто не замечал красоты кремлёвских куполов. Никто не смотрел в небеса. Никто не старался разгадать тайну русской истории, реющую среди узорных крестов. Золотые купола беззвучно хохотали над теми, кого завтра сметёт без следа загадочный русский вихрь. Они бесславно исчезнут, так и не успев прочесть поднебесную надпись на колокольне Ивана Великого.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Кольчугин вернулся в свой загородный коттедж, в который уж десять лет как переехал из фешенебельной московской квартиры. Они с женой радовались тишине, окрестным дубравам, водохранилищам, от которых ветер при-

носил запах воды, тихие туманы и белых крикливых чаек. Они перенесли в свое загородное жилище фетиши прожитой жизни. Иконы, которые собирали, путешествуя по северным деревням. Глиняные и деревянные игрушки народных мастеров и затейников. Разноцветный фонарь, под которым протекло его детство и собиралась многочисленная, теперь уже канувшая в небытие родня. И конечно, книги, эти хранилища, в которых, превращённая в романы, сберегалась прожитая им жизнь.

Их дети обзавелись семьями, разъехались по своим домам. И этот загородный коттедж был прибежищем их старости, приютом последнего, отпущенного им срока.

Кольчугин вернулся из Кремля изнурённый. Своей одинокой усталой волей он был не властен повлиять на чудовищную лавину событий, под которой погребалась эпоха. Рушились города, скрежетали границы, маячила мировая катастрофа.

Он вернулся в свой дом, где всё было внятно, проверено, сопоставимо с прожитой жизнью, с тихой болью воспоминаний.

Ходил по дому, приближаясь к предметам, которые вызвали мысли о жене. В первое время после её смерти эти прикосновения причиняли нестерпимую боль, сотрясали рыданиями. Но, мучаясь, он нуждался в этих страданиях, вызывая рыдания. Рыдания прорывали глухую стену, за которой скрылась жена. Он прорывался к ней, захлёбываясь болью, и они на несколько мгновений оказывались вместе.

Постепенно рыдания сменились ноющей мукой. Жена присутствовала в доме, пробуждая позднее раскаяние, неутолимую тоску. Но постепенно, года через три, тоска превратилась в тихую печаль, сладостное обожание, терпеливое ожидание встречи.

Он приблизился к дивану, на котором лежала маленькая, шитая золотой нитью подушка. Её когда-то положила жена, и он помнил, как её голова касалась подушки. Он провёл рукой над золотым шитьём, словно погладил жену по голове. “Милая!” — произнёс он беззвучно.

На камине стоял кованный подсвечник с остатками розового воска, с той последней новогодней ночи, когда жена, уже больная, вышла к столу, и они чокнулись бокалами шампанского, и взгляд жены был умоляющий, словно она знала о неизбежной разлуке. Кольчугин тронул застывшую каплю воска. “С Новым годом, родная!” — произнёс он, чувствуя, как начинают дрожать губы.

На стене, укреплённое булавкой, красовалось ястребиное перо, серо-коричневое, рябое. Жена нашла его на лесной дороге, принесла домой и прикрепила над дверью. Он посмеивался над её привычкой засушивать в книжках полевые цветочки, собирать на память шишки, речные ракушки, разноцветные камешки. “Ты, как сорока, всё тащишь в своё гнездо!” Теперь, коснувшись пера, подумал, что перелистает томики Пушкина, Тютчева и Есенина, в которых таятся выпуклые колокольчики, анютины глазки, розовые гераньки, и зазвучит её родной голос.

Ему казалось, что жена появляется в доме в его отсутствие. Кто-то невидимый перекладывал в его кабинете очки, листы бумаги. Кто-то перевешивал пиджак с одной вешалки на другую. Кто-то клал на его рабочий стол садовый цветок. Комнату жены, где она умерла, он боялся открывать, чтобы в ней сохранилось её дыхание. Плед, которым была покрыта широкая кровать, шкаф с её платьями и платками, японская ваза с драконом, иконы в углу, фотография, где они с маленькими детьми сидят на берегу пруда, — от всего этого исходило тихое тепло, словно жена ненадолго вышла из комнаты и скоро вернётся.

Он услышал телефонный звонок. Бархатный, исполненный почтения голос принадлежал Виталию Пискунову, важной персоне центрального телевизионного канала.

— Дорогой Дмитрий Фёдорович, как себя чувствуете? Не отрываю ли вас от письменного стола? Очень соскучился.

— Чувствую себя по годам моим. Держусь на ногах. Но пора обзаводиться клюкой.

— Ну, что вы, Дмитрий Фёдорович! Молодым за вами не угнаться! Из каждого вашего слова, из каждой строки так и брызжет энергия.

— Я так не думаю, — сдержанно ответил Кольчугин.

Когда-то Пискунов был подающим надежды писателем. Показывал Кольчугину свои первые рассказы о русской деревне, о деревенских старухах, доживающих одиноко свой век среди осенних дождей. Кольчугин благосклонно отозвался о рассказах, отмечал в них тонкое знание деревенского быта, присущее русским писателям сострадание. Но Пискунов не пошёл по литературной стезе — его поглотило телевидение, это стоцветное тысячеглавое чудовище. Пропустило сквозь свое хлопотное утро. Изжевало, переварило. Из застенчивого литератора, размышляющего о горькой русской судьбе, он превратился в преуспевающего дельца, циничного исполнителя. В ловкого манипулятора, создающего на экране мнимую картину мира, удобную властям.

Обо всём этом подумал Кольчугин, слушая мягкий, сытый голос Пискунова.

— Я хочу пригласить вас, Дмитрий Фёдорович, в нашу программу “Аналитика”. Мы обсуждаем кризис на Украине, и ваше мнение для нас бесценно.

— У меня нет мнения. Одни впечатления, которые рождает во мне ваша телевизионная картинка. Я вижу, как убивают русских людей в Донбассе, как штурмовики бомбят цветущие города, и во мне тоска и смутнение.

— Нам очень важны ваши впечатления, Дмитрий Фёдорович.

Пискунов говорил вкрадчиво и настойчиво, как человек, которому редко отказывают. Он просил Кольчугина об одолжении, но его просьба была завуалированным требованием. Телевидение, которое представлял Пискунов, властвовало над умами и репутациями, и Кольчугин, которого почитали властителем дум, был многим обязан экрану.

— В этот сложный политический момент, Дмитрий Фёдорович, народ хочет услышать ваш голос. Без вас, без ваших эмоциональных и искренних слов наша передача будет неполной.

— Нет, Виталий, не настаивайте. Я не приду. Вам нужна аналитика, а я издам лишь беспомощный вопль.

— Вы сильнее любого военного аналитика. За вашими плечами столько войн! Ваши романы — это история батальон последних пятидесяти лет. Мы вас ждём с нетерпением.

— Не настаивайте, Виталий, я не приду.

— Ну, хорошо, Дмитрий Фёдорович, сейчас вы устали. Позвольте мне позвонить ещё раз вечером. Подумайте, это очень важная передача. Её будут смотреть в Кремле.

Кольчугин отложил телефон, в котором меркли кнопки, и угасал голос Пискунова, как гул отлетающего шмеля. Смотрел на книжную полку с беззвучными рядами книг, в которых не был слышен грохот убиваемых городов.

Он видел, как убивают Герат, гончарный, коричневый, клетчатый, в который вонзались снаряды “Ураганов”, прорубая в воздухе свистящие, полные огня туннели. Над городом поднимались жирные шары дыма, превращались в тёмных великанов, которые шатались на тонких ногах, покачивали турбанами.

Он видел убитый Вуковар, растёртый в мелкую крошку. Дымились фундаменты, пахло горелым мясом. Чёрные деревья с обрубками ветвей, с дырами в стволах были похожи на пленных, поставленных на колени, молящихся перед расстрелом. В церкви снаряд впился в голову Ангела, и мимо мчалась обезумевшая танкетка.

Он стоял на мосту через Савву, где тысячи сербов живым щитом заслоняли Белград. Цвели пасхальные вишни, в церквях шли службы. Крылатые ракеты неслись над городом, взрывали дома, выгрызали хрустящие ломти фасадов. А люди, и он вместе с ними, взявшись за руки, мерно раскачивались и пели молитвенную слёзную песню: “Тамо, далеко...”

Грозный был страшен, казался котлом с кипящим варом. Танки били прямой наводкой, обрушивая здания вместе с гнёздами снайперов. За Сунджей отряды чеченцев прорывались из города, попадая на минные поля,

под кинжальный огонь пулемётов. Дворец Дудаева, иссеченный осколками, казался обугленной вафлей. Из окон во все стороны валил дым. Высоко над кровлей трепетал Андреевский стяг, укрепленный бойцами морской пехоты. Из разорванного газопровода вырывалось шумное пламя. В горячем воздухе, среди растаявших снегов, разбуженная теплом, расцвела вишня.

Он проник в сектор Газа из Египта через тесный туннель в тот момент, когда начался налёт авиации. Израильские самолёты подлетали к городу, выпуская ракеты, и одно за другим с жутким грохотом рушились высотные здания. С диким воем неслась по улице “скорая помощь”, разбрасывая лиловые вёшпки. На операционном столе лежала девочка с оторванными руками, остатки рук дрожали, как красные стебельки. И летели в небо сотни “Касамов”, оставляя курчавые трассы.

Он нёсся в боевой машине пехоты по улицам сирийской Дерайи, слыша, как чавкают по броне пули. Город осел, провалился, словно зверь, у которого подрезали поджилки. Пустые окна зияли, и из каждого по фасаду тянулся язык копоти. На асфальте лежал мертвец в долгополой одежде, с отвалившейся белой чалмой. Боевые машины пехоты, не успевая отвернуть, наезжали на мертвеца, расплющивая его гусеницами.

Его книги были надгробьями, под которыми лежали убитые города. Названия поманов звучали эпитафиями на могильных плитах. Тексты были надгробными рыданиями. Он стремился в эти города, чтобы закрыть им глаза. Услышать их предсмертные стоны. Но, стремясь в эти дымящие руины, уклоняясь от пуль и разрывов, он испытывал странное влечение, мучительное любопытство, как патологоанатом, рассекающий скальпелем мёртвые сухожилия, проникающий в тёмное чрево, берущий в руки остановившееся сердце. Он создал в своих книгах эстетику разрушения, научился изображать смерть людей, железных машин и каменных городов. И он чувствовал греховность в своём стремлении изображать смерть вещей и явлений.

Кольчугин вышел из дома в сад. На яблонях, которые когда-то посадила жена, теперь наливались плоды. Их было так много, что ветки согнулись и могли обломиться.

Вдоль забора, скрывая изгородь, росли берёзы, дубы, орешник, посаженные женой, пожелавшей, чтобы дом был окружён лесом. Деревья разрослись, напоминали лесные опушки из той бесконечно далёкой поры, когда он, исполненный молодых мечтаний, в предчувствии творчества и любви, уехал из Москвы в деревню и работал лесником в подмосковном лесничестве. Без устали шагал по лесным дорогам и просекам, фантазировал и мечтал. Теперь рукотворный лес вокруг дома напоминал ему опушки, и ему казалось, что жена, посадившая лес, уже тогда предвидела его одиночество. Окружила драгоценными воспоминаниями, которые рождали деревья.

Он сел за стол, над которым распустила ветки рябина. Ягоды начинали созревать. Когда они нальются красным соком, прилетят дрозды, шумно, стрекоча и звеня, усядутся на рябину. Станут обклёвывать ягоды, сорить на стол, вспыхивая в ветвях стеклянными крыльями. И утром, выходя в сад, он увидит усыпанный ягодами стол и рябое пёрышко, прицепившееся к столу.

Кольчугин смотрел на рябину, на её смуглые ветви, резные листья, багровеющие гроздья. Образ жены тайно присутствовал в дереве. Жена перенеслась в рябину, покидая дом в дождливый сентябрьский день, усыпанная осенними хризантемами и астрами в длинном гробу. Её неживое тело покинуло дом навсегда, но душа не последовала за рыдающей роднёй, а перелетела в рябину. И Кольчугин в солнечные январские дни, в апрельские туманы, в шумные летние ливни подходил к рябине и целовал её. Целовал свою ненаглядную, обожал её поздней горькой любовью.

В эти мучительные грозные дни, когда убивали города Донбасса, когда Донецк и Луганск, Краматорск и Славянск, Мариуполь и Красный Лиман оставляли в его душе кровавые ожоги, он стремился туда, к ополченцам. Чтобы вместе они отражали атаки самолётов и танков. Ополченцы — переносными зенитно-ракетными комплексами и гранатомётами. А он — своей ненавидящей волей, своим мистическим даром останавливать в воздухе снаряды и пули, сбивать самолёты, превращая их в дымные вёшпки.

Его душа раздваивалась, стремилась в разные стороны. В убиваемые города, чтобы закрыть им глаза, услышать их предсмертные стоны. И в восхитительное прошлое, где его изнурённая, прожившая жизнь душа отыщет любимых и близких. Последует вслед за ними туда, где “нести болезней и печалей”.

Зазвонил телефон. Любезный, бархатный голос Виталия Пискунова повторил приглашение на телепрограмму. Кольчугин вновь наотрез отказался.

Он должен отвернуться от этого ужасного, невыносимого мира. Заслониться от него непроницаемой завесой. Обратиться душой к драгоценному прошлому, где столько чудесного, загадочного и волшебного. Молитвенной мыслью коснуться этого прошлого, которое откликнется любимыми голосами. Устремится к ним, и они уведут его туда, где нет смерти, где божественные сады, и его земная завершённая жизнь получит неземное продолжение. “В этом задача. В этом искусство завершить бытие”.

Ему казалось, что, если превратить свои мысли в молитву, сбросить утомлённую плоть, свить свои чувства в лучистый пучок и метнуться в рябину, в её листву, в её красные гроздья, в серебристое сияние ветвей, то случится чудо: он обнимет жену, она подхватит его в объятия, и, омытые древесными соками, они умчатся в юность, в восхитительное время, когда он жил в деревне, писал свои первые рассказы, и она приезжала к нему — ещё не жена, невеста, — в его тесную избушку, в светёлку с русской печкой.

Ночное оконце в инее, в пернатых морозных листьях. Колочая тень шиповника на белёной печи. Под потолком качается голубая беличья шкурка. Он читает свой наивный рассказ, отрывается от листа и смотрит, как она лежит на кровати под стёганым красным одеялом. Её восхищённые, обожающие глаза... Ей нравится описание коня, зимней дороги, слюдяного следа из-под санных полозьев.

Они играют в карты. На столе — россыпь дам и валетов. Она огорчается, когда проигрывает, на глазах её выступают слёзы. Он поддаётся, и она, выигрывая, целует его. За оконцем, по морозной солнечной улице кто-то идёт в тудупчике, в разноцветном платке.

Они бегут на лыжах по огромному снежному полю. Их лыжи наезжают на сухие, торчащие из-под снега цветы. Ломают, осыпают лёгкие семена. Солнце, если сжать ресницы, превращается в пушистый радужный крест. Они влетают в лес, в прохладные синие тени. И лось, сиреневый, выбрасывая из ноздрей букеты пара, смотрит на них фиолетовыми глазами.

С лесниками на поляне он грузит на трактор сосновые брёвна. Подхватывают в несколько рук, закидывают на тележку. Сизые от мороза лица, запах пиленого леса, крики, хохот. Она в стороне следит за его работой, и он, подхватывая золотое бревно, любит её среди солнечных сосен, знает, что им суждена огромная неразлучная жизнь.

Из натопленной жаркой избы они вышли в морозную ночь. Хрустела дорога. Над избами пышными хвостами стояли думы. Слабо светились окна. Дорога вела за деревню, в гору, в открытое поле, и они, взявшись за руки, шли под звёздами, запрокинув лица к мерцающему необъятному небу. Сквозь варежку он чувствовал её тонкие пальцы. Они разжали руки, она отстала. Он слышал, как хрустывает под её торопливыми шагами дорога. Она едва поспевала за ним. А его подхватила ликующая сила, стремительно повлекла. Глядя на звёзды, он шагал быстро, мощно и радостно. Зимняя дорога вела в таинственные поля. Глаза туманили морозные слёзы. Звёзды сливались в сверкающую струю, которая мчала его в бескрайнее будущее. Там, в этом сверкании, его ждали великие откровения, немислимые приключения, небывалое творчество. Он вдруг понял, что идёт один. Остановился, переводя дыхание, вглядываясь в морозную мглу. Она появилась, медленно подошла:

— Знаешь, о чём я подумала?

— О чём, моя милая?

— Эта дорога — как наша жизнь. Сначала мы пойдём по ней, взявшись за руки. Потом ты отпустишь мою руку, но мы будем идти рядом. Потом ты прибавишь шаг, и я отстану. Потом ты потеряешь меня из виду, я пропаду, и ты будешь идти один. И потом вдруг очнёшься на этой дороге, а меня нигде уже нет.

Позже, потеряв жену, он поразился предчувствию, которое посетило её на зимней дороге, когда ничто не предвещало разлуку, и они были безмятежно счастливы.

Теперь от этого воспоминания подступили рыдания. Кольчугин, сгорбившись, сидел под рябиной, и ему казалось, что жена из листвы смотрит на него с состраданием.

В сумерках он вернулся в дом, в его пустоту. Побродил. Посидел на диване. Перемыл тарелки и чашки. Не желал включать телевизор, чтобы не видеть охваченных огнём городов, багровых, как ожоги. Не сумел совладать с собой — включил.

Украинский штурмовик пикировал на предместье Донецка, и красные шары взрывов катились среди садов. Из окон многоэтажного дома валил жирный дым, и две старухи, помогая друг другу, семенили по улице. Ополченцы с угрюмыми закопченными лицами на блокпосту проверяли машины, и у одного на голом плече синела татуировка цветка. Танк Т-34, снятый с постамента, украшенный гвардейскими лентами, катил на передовую, где его поджидали сотни украинских танков. Лобастое, с тяжёлыми надбровными дугами лицо министра иностранных дел, который устало, снова и снова осуждал Украину за применение силы, и его слова казались безвольным лепетом.

Кольчугин, тоскуя, выключил телевизор. Города, охваченные пожаром, звали его. Каждый взрыв, каждый рухнувший дом был криком о помощи. Там, в городах Донбасса, было его место.

Кольчугин нашёл телефон и набрал номер Пискунова.

— Я согласен. Завтра приеду.

— Вот и прекрасно, Дмитрий Фёдорович, вот и прекрасно!

Кольчугин слушал, как беспокойно, с переборами, стучит сердце.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

На следующий день он вызвал шофёра и отправился на телевидение. Проезжал сквозь подмосковные леса и посёлки, которые сменялись супермаркетами, автосалонами, товарными складами. Москва приближалась туманным железным облаком. Кольцевая дорога казалась вольтовой дугой, которая дымилась, мерцала и плавилась. Автомобиль, въехав в Москву, увяз в липком месиве, с трудом продвигался сквозь изнурительный вязкий кисель. Истошно стонали кареты “скорой помощи”, выли милицейские машины, и их вой внезапно переходил в утиное кряканье.

Кольчугин угрюмо нахохлился на заднем сидении. И оживился, когда впереди, словно серебряный слиток, возник монумент Рабочему и Колхознице. Два ангела в буре света летели над туманной Москвой, продолжая трубить о великом исчезающем веке.

Останкинская башня казалась луковицей, из которой вознесся одинокий громадный стебель. Исчезал в лазури. Источал бесцветные стеклянные вихри. Вид башни вызвал в нём отторжение, не исчезавшее с тех пор, как у её подножья пулемёты стреляли в толпу. Он помнил, как, разбрасывая бортами людей, мчался безумный БТР. Из люка, не управляя машиной, смотрел ошалевший механик-водитель, и Кольчугин кинул ему вслед бутылку с бензином. Промохнулся, и бензин потёк на асфальт. В парке, окружавшем башню, в дубах застреляли пули тех кровавых дней.

Здание телецентра — огромный, уныло застеклённый брусок — было мясорубкой, вырабатывающей человеческий фарш, кухней, где дни и ночи готовилось душное варево, которым питали народ. Кухня нуждалась в громадном количестве телевизионного мяса, едких приправ и наркотических специй. По коридорам двигались бесконечные толпы. Детские коллективы. Спортивные команды. Вереницы бестолковых, понукаемых помрежем пенсионеров. Скользили, как ящерицы, гибкие, с хвостами девичьи. Проскакивали длинноволосые юноши с серьгами, переговариваясь по рации. Всё это чавкало, хрустело, пускало соки, в которые подмешивались пряности, вкусовые добавки. Гуща процеживалась, обесцвечивалась, превращалась в бесплотный

пар, в мираж, который возгонялся в трубчатый стебель телебашни и улетал в беспредельность.

“И я, и я телевизионное мясо”? — ворчливо думал Кольчугин, едва поспевая за длинноногой девицей.

Его встретил Пискунов. Когда-то худенький юноша, с провинциальной застенчивостью внимавший поучениям московских знаменитостей, теперь он был округлый, упитанный, с рыжеватой лысеющей головой. Его мясистые, чуть оттопыренные губы выражали мягкую иронию пресыщенного, выдавшего виды дельца. От него зависело множество репутаций и судеб, включая и тех, кто когда-то числился среди его покровителей. Большие деньги, близость к власти, искушенность в интригах сделали Пискунова барственно-мягким, утомлённым и снисходительным.

— Дорогой Дмитрий Фёдорович, я ваш должник. Я и до этого ваш вечный должник, но теперь особенно. Требуйте, чего хотите.

— Вы не могли обойтись без меня? Почему такая экстренность?

— Я не мог вам сказать по телефону. Эту передачу будет смотреть президент.

— У него есть для этого время?

— Вы видите, что творится. Мы накануне войны. Президент перед трудным решением, быть может, роковым. Он хочет знать, что думают лидеры общественного мнения. А вы несомненный лидер.

— Я буду говорить резкие вещи.

— Это и нужно, Дмитрий Фёдорович, это и нужно! Сегодня у нас собрались посредственные, пресные люди. Ни рыба, ни мясо. На вас вся надежда! — он мял в своих тёплых руках костистую руку Кольчугина, провожая его до гримерной.

Сидя перед зеркалом, Кольчугин не смотрел на своё отражение. Закрыл глаза, чувствуя убаюкивающие прикосновения молодой женщины, желая, чтобы эти женственные касания длились дольше.

Его отвели в гостевую комнату, где уже собрались участники шоу. Все были знакомы по прежним представлениям, встречались за круглыми столами, на политических форумах. Все были приближены к власти, находясь на разном от неё удалении. Пользовались её покровительством, её благами. Составляли обширный круг политологов, политиков, общественных деятелей, которые тонко навязывали обществу рекомендации власти. Их суждения, иногда блистательные, не были самостоятельными. Они напоминали раствор, в который кремлёвский аптекарь капал из пипетки свой концентрированный препарат. Среди них не было тех, кто пребывал в ссоре с властью, составляя едкую оппозицию, кто отсложился от власти, хотя в прежние годы слыл кремлёвским баловнем, законодателем политических мод, трубадуром Кремля.

Кольчугин раскланялся. Ему предложили кофе. Он принадлежал к их кругу, хотя и держался особняком. За ним тянулся шлейф непримиримого протестанта, яростного противника режима, “проповедника красных смыслов”. Этот шлейф не таял и теперь, когда Кремль, заполучив в свои чертоги нового президента, стал ратовать за сильное государство, приблизил к себе Кольчугина, пользовался его репутацией патриота, государственника, поборника “русской идеи”.

— Наши либералы совсем обнаглели. Вы слышали? Они завтра устраивают шествие в поддержку киевских властей. Вторят Киеву, называя ополченцев Донбасса террористами. Призывают бомбить и бомбить. Они что, сошли с ума? Ведь среди них есть приличные люди! — это произнёс Коловойтов, главный редактор журнала, приближенного к Кремлю. Рослый, вальяжный, барственный, он источал благодушие преуспевающего, ни разу не проигравшего человека, поскольку умел маневрировать среди политических рифов и отмелей. — Неужели либералы так уверены в своей скорой победе? — Коловойтов был мягкий либерал и не хотел, чтобы его отождествляли с радикальными либеральными вождями, с которыми у него сохранялись неясные отношения.

— Президент справедливо называет их “пятой колонной” и “национал-предателями”, — депутат Круглых сделал грозное лицо, и его язвительная

улыбка была обращена к Коловойтову, который своей дружбой с либеральными оппозиционерами вполне мог прослыть “национал-предателем”. — Пора с ними разобраться.

— Мы же понимаем, кто стоит за их спиной. Вашингтонский обком. Они обложили президента со всех сторон. Ох, и не сладко нашему президенту! Похудел, нервный, глаза запали. Сегодня он нуждается в поддержке, как никогда, — юрист Чаржевский оглядел всех быстрым тревожным взглядом, словно хотел убедиться, не сказал ли он лишнего, не допустил ли неосторожных суждений.

— Но вы заметили, что телеканалы смягчили риторику в отношении Киева? То “бандеро-фашисты”, то “кровавый режим”, то “руссофобы”. Теперь этого нет и в помине. “Киевские власти. Президент Украины”. Может быть, мы дистанцируемся от Новороссии? — сказала Лапунова, близкая к Кремлю активистка, устроительница патриотических митингов. Она была с чёлкой, с едва заметными морщинками у глаз, которые не удалось победить многочисленными массажами и втираниями. — Этого нельзя допустить. Мы не должны предавать Новороссию. Я созываю большой митинг с участием патриотических организаций. Мы выступим в поддержку Донбасса.

— Всё это хорошо, — хмуро произнёс военный эксперт Родин. — Но Донбассу нужны не митинги в Москве, а танки и установки “Град” в Донецке и Луганске.

Все умолкли. Попивали кофе.

— А вы как считаете, Дмитрий Фёдорович? — обратился к Кольчугину Коловойтов. — Вы наш мудрец, наш гуру.

— Если раздавят Новороссию на глазах у нас, русских, значит, русские перестали быть народом, — глухо произнёс Кольчугин. И молчание продолжилось, лишь позвякивали кофейные чашечки.

Появились ловкие молодые люди и стали оснащать гостей микрофонами. Кольчугин покорно подставлял голову, грудь, позволял опутывать себя проводами. Теперь он становился частью огромной электронной системы, был соединён с телебашней, орбитальными спутниками, с миллионами телеэкранов. Его эмоции, мысли, его голос и образ отбирались у него, становились собственностью этой системы, которая с их помощью управляла сознанием огромного измученного народа. Направляла это сознание в удобную государству сторону.

Барышня, приставленная к Кольчугину, помогла ему пройти в студию, провела сквозь чёрные кулисы, сгустки кабелей, перекрёстья конструкций. Он оказался среди яркого света, дразнящих всплешек, шумных оваций, которыми встретили его сидящие на трибунах статисты. Им вменялось создавать ощущение зрелища, подбадривать овациями участников телешоу.

Каждому гостю отводилась стойка. Все уже были на местах. В центре оставалось пустое пространство для ведущего. Шоу в прямом эфире транслировалось на Дальний Восток, где уже наступил поздний вечер. Затем, в записи, зрелище перемещалось на запад, накрывая разноцветным шатром Сибирь, Урал и, наконец, Европейскую часть страны и Москву. Москвичи увидят передачу сегодня вечером. Кольчугин к тому времени вернётся домой, устроится в кресле перед телевизором и оценит со стороны своё участие в телешоу.

Аплодисменты зазвучали особенно громогласно. В студии появился ведущий Веронов. Белые манжеты сверкали на запястьях. Блестели в улыбке белоснежные зубы. Большое, с крупным носом лицо, обработанное гримом, было властным, как у полководца. Он минуту упивался аплодисментами, сиянием студии, обращёнными на него взорами, словно позировал. Обошёл гостей, пожимая им руки.

— Я очень, очень рад видеть вас в моей программе, Дмитрий Фёдорович, — сказал он Кольчугину. — Вы бесподобны. Я рассчитываю на вашу публицистику, всегда яростную и честную. — Эти слова Веронов произнёс негромко, чтобы их не услышали и не взревновали другие гости.

Веронов был отдалённым отпрыском Пушкина, гордился своей родословной. Однако в родовой плавильный котел было брошено столько примесей, влито столько разных кровей, что бесследно исчезли родовые черты поэта,

и вместо африканских пушкинских губ и курчавых волос появились монголоидные скулы и светлые арийские волосы.

— Минута до эфира! — возгласил взволнованный голос. Все замерли. Грянула бравурная музыка. Засверкали вспышки. Ведущий Веронов картинно развёл руки, словно принимая весь мир в объятия, и сочно, зычно произнёс:

— Начинаем нашу программу “Аналитика”! Самые жгучие вопросы! Самые яркие умы! Самые смелые прогнозы! Смотрим в будущее, чтобы не проиграть настоящее!

На мгновение умолк, давая время отгреметь аплодисментам. Двинул бровью, прерывая их шквал.

— События на Юго-Востоке Украины приобретают черты гражданской войны. Киев, заручившись поддержкой Америки, развязал себе руки и обстреливает города из тяжёлой артиллерии. Множатся жертвы среди мирного населения. Растёт ожесточение схватки. Куда ведёт нас война на Украине? Как мы в России можем предотвратить жестокие бомбардировки, гибель детей и женщин? На это ответят наши уважаемые эксперты.

Он повернулся к Коловойтову, приглашая начать дискуссию:

— Вы часто публикуете в своём журнале материалы о “Русском мире”, уникальной “Русской цивилизации”. Скажите, можно ли теперь, когда украинцы убивают русских, а русские — украинцев, можно ли говорить о “Русском мире”?

— Видите ли, — Коловойтов в манере кафедрального профессора поучающее поднял палец. — “Русский мир” — явление не сиюминутное. Это историческая данность, создаваемая русскими, украинцами и белорусами на протяжении столетий. И в этом созидании были провалы, междоусобицы, которые, однако, преодолевались глубиной общности. Это общая для нас православная вера, даровавшая нашим народам общие райские смыслы. Это общие пространства, среди которых развивались наши народы. И это общий враг, который хотел нас поработить. И сегодня повторяется извечный западный проект “Дранг нах остен”. Мы должны сделать всё, чтобы сохранить единство наших народов. Уверен, “Русский мир” не разрушат крупнокалиберные гаубицы украинских нацистов.

Коловойтов величаво и удовлетворённо умолк. Грохнули аплодисменты. А Кольчугин испытал едкое разочарование. Витиеватость слов не объясняла, как прекратить убийство городов, истребление русских, надгробные рыдания Донбасса.

— А как вам, юристу-международнику, видятся действия украинских властей? — Веронов указал на Чаржевского, приглашая вступить в дискуссию.

— Как известно, киевские правители пришли к власти путём переворота. Поэтому эта власть нелегитимна, и все её действия априори нелегитимны. — Чаржевский говорил сочно, с наслаждением ставя одно слово подле другого, как мастер красиво и плотно кладёт кирпичи, возводя искусную кладку. — Наше юридическое сообщество рассматривает возможность создания общественного трибунала с привлечением европейских коллег для осуждения военных преступлений Киева. Это будет второй Нюрнберг, на котором перед судом предстанут киевские политики, военные и, надеюсь, их вдохновители из европейского и американского истеблишмента.

На его губах играла тонкая улыбка презрения к киевским безумцам, не ведающим своей будущей судьбы — судьбы вождей Третьего рейха.

Студия по приказу невидимого дирижера взорвалась аплодисментами. А у Кольчугина начался гневный спазм от непонимания того, как эти витийства правоведа спасут убиваемые города, остановят потоки гробов.

— Но не кажется ли вам, — обратился Веронов к депутату Круглых, — что Европа по-прежнему живёт двойными стандартами? Разве не нарушают права человека тяжёлые гаубицы, стреляющие по Донецку и Луганску?

Круглых был невысокий, плечистый, с глазами навывкате, в которых трепетали отражённые рубиновые огоньки. Он походил на рассерженного бычка, готового бодаться.

— Я был в Страсбурге! Я им прямо сказал: “Господа, разве мы не подарили вам Восточную Германию? Не объединили разделённый немецкий

народ? Почему же вы не хотите объединения русских? Мы, русские, объединимся, даже если вы каждому русскому запретите въезд в Европу. Мы без Европы проживём, а вот проживёт ли без нас Европа?

Статисты дружно хлопали, и депутат Круглых воспринимал аплодисменты как свидетельство своего ораторского мастерства. Кольчугин не понимал, почему они все уклоняются от страшного вопроса: доколе Россия, её президент, её армия будут медлить, отдавая русских Донбасса на погибель? Этих солнечных младенцев. Этих восхитительных молодых славянок. Этих утомлённых мужиков, почерневших от угольной пыли. Где русские полки? Где отважный десант? Где “истребители пятого поколения”, сбивающие преступных пилотов?

— Позвольте! — он потянул руку, желая, чтобы Веронов дал ему слово. Но тот остановил его властным жестом и обратился к военному эксперту Родину:

— Каковы возможности украинской армии продолжать боевые операции?

Седой, с ястребиным носом и стальным блеском в глазах эксперт по-военному вытянулся за стойкой.

— Докладываю. Украинская армия почти не боеспособна. Личный состав не обучен. Командирский корпус не укомплектован. Боевой дух низок. На вооружении находится техника советских времен, которая долго не ремонтировалась и не пригодна к применению. Но это не значит, что армия не воюет. Воюет, причём зверскими методами, которым ополченцы Донбасса могут противопоставить только методы партизанской войны.

Эксперт Родин говорил о соотношении сил, о марках танков и гаубиц, о количестве вертолётов. Кольчугин чувствовал, как его душит презрение к этим благополучным, обеспеченным людям, не смеющим произнести вслух жестокую правду: Россия бросает русских в страшной беде. Русские офицеры, оставаясь в казармах, покрывают себя позором. И все они, находящиеся в этой бутафорской студии, напыщенные и вальяжные, являют собой пример безнравственности.

Шумели аплодисменты. Веронов господствовал над умами, направлял дискуссию то в одно, то в другое русло. Был музыкантом, нажимающим кнопки послушной флейты.

Повернулся к общественной активистке Лапуновой. Та нетерпеливо трепетала за стойкой, как попавший в паутину мотылёк.

— А почему, скажите на милость, молчит российская общественность? Где митинги в защиту Новороссии? Где демонстрации, подобные тем, что проходили в дни присоединения Крыма?

— Ну, как же вы говорите, что мы бездействуем! Мы вовсе не бездействуем! Идёт сбор гуманитарной помощи, идет сбор средств. Мы обратились к общественным организациям мира. Устраиваем выставки, изобличающие зверства украинских воюк. Через два дня в Москве намечен митинг в поддержку Донбасса, в котором примут участие все патриотические организации. Кстати, пользуясь случаем, обращаюсь к вам, Дмитрий Фёдорович: приходите на митинг! Люди ждут вашего слова. Люди культуры за мир в Новороссии!

Статисты аплодировали. Веронов артистично повернулся на каблучках, обращаясь к Кольчугину:

— Вы принимаете приглашение. Дмитрий Фёдорович? Что бы вы сказали народу с трибуны?

Кольчугин почувствовал, как жаркая волна хлынула в глаза. Бурно вздохнул, стараясь пробить удушающий спазм боли.

— Я скажу, я скажу! — почти выкрикнул он. Увидел, как изменилось лицо Веронова. И от испуга в нём вдруг проснулся дремлющий пушкинский ген: обозначились африканские губы, полыхнул в глазах фиолетовый эфиопский огонь. — Я скажу! Сидя в креслах, мы смотрим, как девочке в Славянске отрывают ручку, и она машет кровавым обручком! Смотрим, как снаряд взрывает Дом престарелых в Горловке. Инвалиды вылезают из развалин на инвалидных колясках, а навстречу им движутся танки! Нам показывают,

как убивают самых лучших русских людей, а мы пьём кофе! Очнитесь, господин президент! Введите войска! Введите десантников! Сбивайте проклятые самолёты! Спасите русских! Их кровь на нас! Вы слышите меня, господин президент!

Он захлебнулся и умолк. Загрохотали овации. Эфиопские глаза ведущего безумно смотрели на него.

— Мы уходим на рекламу! Оставайтесь с нами! — Веронов сбросил с себя образ факира, как сбрасывают плащ. Подошёл к Кольчугину:

— Благодарю, Дмитрий Фёдорович. Вы великолепны. Подняли уровень передачи своей эмоциональностью. Не сомневаюсь, президент вас услышит.

— Извините, я плохо себя почувствовал. Не сердитесь, но я вас покину, — слабо отозвался Кольчугин.

В машине он откинулся на сиденье, слыша, как бьётся сердце.

Дома дрожащей рукой накапал сердечное зелье, выпил мутноватый настой и лёг на диван. Он только что совершил поход в убиваемые города, который стоил ему сердечного приступа. Реальный поход, с преодолением границы, с уклонением от постов украинской армии, с перебежками под обстрелом, — такой поход был ему не под силу. Но он выполнил свой долг. Ударил в набат на всю страну, и страна всколыхнётся, и президент, наконец, очнётся.

Сердечный приступ отшвырнул его от замысла книги, которая так и не будет написана. Война в Новороссии останется без своего летописца. Время снаряжаться в другой поход. Ему предстояло странствие, которое он совершит, нырнув в листву и красные грозди рябины. И там, среди листвы, обнимет свою ненаглядную.

После свадьбы в деревенской избушке, где с лесниками пили красное вино, закусывая скудными конфетками из кулька, их повлекло в восхитительные путешествия. Страна была необъятной, а жизнь бесконечной. И теперь, спустя столько лет, он помнил каждую росинку на утренних каргопольских лугах, каждую перламутровую ракушку на отмели Белого моря.

Её прозрачное на солнце платье, в котором струится чудное тело, черничную ягоду на её лиловых от сока губах.

В Туве, на берегу Енисея, где ночью сияла огромная золотая луна, а днём неслись по воде гремучие остроносые лодки, у них в головах распустился волшебный цветок — розовый дикий пион марьино коренье. И теперь, в старости, он целовал его дивные лепестки.

В каргопольской деревне бабка Ульяна лепила из глины игрушки. Добродушных и милых львов, весёлых наездников, лошадей с человеческими лицами. И она, его милая, подражая деревенской колдунье, лепила смешную лошадку. По сей день та коняшка стоит на камине, храня тепло её пальцев. Тронь, и коснёшься её руки...

Они шли вдоль Оки, и стадо коров, изнурённых жарой, сошло к водопою. Немой голубоглазый пастух играл на певучей дудке. От пьющих коров по Оке уплывали круги, и она сказала: “Запомни всё это, мой милый. Как о воде протекшей, будешь вспоминать”.

На Белом море с рыбаками они осматривали сети. Он помогал ей сестре в поморский карбас, танцующий на мелкой воде. Удары тяжёлых вёсел. Поплавки, похожие на белых чаек. Рыбак цепляет багром уходящую вглубь бечеву. Тянут в четыре руки — и из воды появляется обруч, обтянутый сетью. Блестит ячея, мотается клок травы, извивается розовая морская звезда. Кольцо за кольцом, обруч за обручем. Кажется, из моря поднимается подводный дракон, огромный чешуйчатый змей. И она, его милая, испуганно смотрит на морское чудовище, среди плеска солнечных вод. Кулаки рыбаков мокрые, изрезанные бичевой. Жилы напрягаются на запястьях, когда они затаскивают в карбас огромный кошель. И море взрывается оглушительным треском, слепящим огненным взрывом. Огромные рыбины, сияющие, как зеркала, рушатся в карбас.

Танцуют на головах, брызжут солнечной слизью. Рыбаки укрощают рыбин ударами колотушек. Громадная сёмга, дрожа хвостом, трепещет в руках рыбака.

Ночью, под негасимой зарей целуя её шею и грудь, он увидел у неё в волосах рыбку чешуйку.

— Я чувствую, что зачала, — сказала она. — Теперь у нас будет ребёнок.

Дочь, которая у них родилась, в глубинах своих сновидений, в невнятной туманной памяти хранит этих солнечных рыбин, оленя, переплывающего синий залив, рыбаков с загорелыми лицами, их песни про коней и орлов.

День завершился. Стемнело. Кольчугин не включал телевизор, чтобы не видеть свирепых сюжетов. И только когда пришло время ток-шоу “Аналитика”, он удобно уселся в кресло, чтобы посмотреть передачу.

С нетерпением дождался, когда Веронов обратился к нему:

— Дмитрий Фёдорович! Что бы вы сказали народу с трибуны?

На экране было видно, как Кольчугин молчит, задыхается, пробивает жарким дыханием ком в горле. А потом, страстно, с клёкотом, выкрикивает:

— Я скажу! Я скажу!

На этом его крик оборвался. Возникло лицо Веронова, на котором полыхнули фиолетовые глаза эфиопа, и пошла реклама последней марки “Нисана”.

Кольчугин сидел, ошеломлённый. Его страстный монолог, его обращение к президенту были вырезаны. Его порыв в Новороссию был остановлен. Его рот был запечатан, в него воткнули кляп. Его седины, его горькая проповедь, его молитвенный вопль были осквернены и попорнены.

Он кинулся к телефону. Набрал Виталия Пискунова:

— Что произошло? Почему все мои слова вырезали?

— Пришлось это сделать, Дмитрий Фёдорович. Возникли обстоятельства, — тон Пискунова был печален и терпелив, словно он говорил с пациентом.

— Но как вы посмели? Без моего согласия! Вы уговаривали, умоляли меня прийти и обошлись со мной оскорбительно!

— Изменились обстоятельства, Дмитрий Фёдорович. Мы работаем на государственном канале. Обстоятельства диктуют политике.

— Я больше никогда не приду!

— Мне очень жаль, Дмитрий Фёдорович, — устало и холодно отозвался Пискунов.

Кольчугин сидел в темноте одинокого дома. Сгорбился в кресле, несчастный, немощный, никому не нужный. Его время прошло. Он больше не опасен ни власти, ни врагам-либералам. Он никчёмный старик, наказанный за свою неуёмную гордыню, свою назойливую суетность.

Он сидел в тишине, один на всём белом свете, не нужный ни врагам, ни друзьям. И вдруг в тишине пустой тёмной комнаты услышал голос жены:

— Дима!

Голос был явный, с её глубокими, искренними интонациями, в которых звучало сострадание, утешение, словно она подошла и встала у него за спиной.

Он оглянулся, страшась и надеясь увидеть её, в синем домашнем платье с большими пуговицами, которое она надевала, отправляясь в церковь.

Оглянулся — жены не было. Слабо светилось окно, за которым угасала заря. Но голос был её, в нём было сердечное сострадание, нежность и жалость к нему.

Кольчугин обходил комнаты, суеверно надеясь увидеть жену, которая не умерла, а лишь покинула дом, и теперь, через два года, вернулась. Остановился перед дверью, ведущей в комнату жены. Там, за дверью, она стоит, высокая, тихая, с белым лунным лицом и чудесными карими глазами, которые он любил целовать. Они увидят друг друга, и он обнимет её, прижмёт к груди её любимое лицо.

Кольчугин открыл дверь. Тёмная комната дохнула ему в лицо своей пустотой. И в этой пустоте что-то слабо светилось, словно кто-то, дорогой и любимый, недавно побывал здесь.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Утром он долго не мог подняться. Был сломлен, раздавлен. Был разгромлен. Его стремление сквозь кольцо окружения в осаждённые города было остановлено. Он вёл караваны с оружием, отряды добровольцев, колонны танков, расчёты самоходных орудий... Но был остановлен ударом в спину: “пятая колонна” разгромила его боевую колонну. Оплывший жиром, лживый Пискунов расстрелял его на подходах к Донецку. Веронов, виртуозный жонглер и обманщик, посадил его на минное поле в районе Луганска. И теперь он лежал на одре, собирая из клочков своё растерзанное тело.

Кольчугин не включал телевизор, боясь увидеть зрелище убиваемых городов, которые так и не дождались его помощи. Ополченцев, стреляющих из автоматов по пикирующим штурмовикам. Солнечных младенцев, дрожащих от страха в подвалах. Убитых старух с уродливыми ногами, лежащих на мостовой.

Он включил компьютер и в интернете стал просматривать блоги тех, кто составлял “пятую колонну” врага.

Едкий, как перец, Шутник со свойственной ему вульгарной насмешливостью и весёлой ненавистью писал:

“Вы, донецкие вахлаки с неумытыми рожками! Повылезали, как крысы, из своих вонючих шахт и сражаетесь за “русское дело”? Насиловать украинских красавиц всей своей вшивой ордой — это “русское дело”? Грабить магазины и лавки беззащитных торговцев — это “русское дело”? Мучить пленных солдат, вырезая у них на спинах украинский трезубец — это “русское дело”? Да, соглашаюсь, — это вековечное “русское дело”. Вы, русские, бремя для всех народов, отбросы истории, тупик эволюции. Если бы вас не было на земле, человечество давно бы жило в раю. Нет никакой Новороссии, а есть Крысороссия. И, слава Богу, что вас травят, как крыс”!

Скептический и печальный Мизантроп рассуждал:

“Казалось, что животный русский инстинкт, лежащий в основании русской имперской истории, навсегда подавлен. Россия ступила на путь цивилизованных стран, для которых демократия, уважение прав отдельных людей или целых народов есть незыблемый принцип. Оказалось, не так. Глубинная патология русской души вновь рождает чудовищ. Новороссия — чудовище русского сознания. Эту патологию не излечить гомеопатическими средствами. Её приходится врачевать танками, бомбами и, не исключая, стерилизацией тех, кто агрессивно именует себя русскими, объявляя войну всему человечеству”.

Исторический блогер Русак рвал на себе рубаху:

“Дорогие украинские братья! Мне стыдно, что я русский! Стыдно находиться в одной компании с таким президентом, как наш, или с такими маразматиками, как псевдописатель Кольчугин. Я вступаю в ваш “Правый сектор” и вместе с вашими мужественными бойцами буду сражаться в Донбассе. В ваших рядах победным маршем пройду по улицам поверженного Донецка. А потом мы пойдём на Москву. На Тверской будем вешать на фонарях всю русскую сволочь, которая посягнула на свободу и независимость Украины. Пою вместе с вами любимую песню Степана Бандеры: “Де побачив кацапуру, там и риж”!

Неистовая Валькирия взывала:

“Все, кто чувствует у себя на горле когтистую лапу русского шовинизма, все вместе с нами на Шествие! Сегодня! В четырнадцать! От площади шовиниста Пушкина до памятника интернационалисту Абаю! Наденьте украинские рубахи! Пойте украинские песни! С нами Европа! С нами Америка! С нами “морские коттики”, которые задушат кремлёвскую мышь! Если ты русский и едешь добровольцем в Донбасс, лучше удавись! Верёвки продаются по адресу: “Киев. Майдан”! Слава героям!”

Кольчугин обессилел. Интернет напоминал сосуд, наполненный ядовитым раствором. В нём вскипали злые кислоты. Бурлили зловонные пузыри. Кипела отравы. Это была химия ненависти, происхождение которой было неясным. Эта ненависть гуляла по улицам, наполняла университеты, бурлила в концертных залах. Интернет служил реактором, в котором вырабатывалась

ненависть. Ненавидящая рука сыпала в этот реактор смертоносные химикаты. Раствор менял цвет. Переливался злыми радугами. В нём выпадали осадки. Плавала жёлтая пена. На поверхность всплывали уродливые утопленники, смердящие мертвецы.

Кольчугин выключил компьютер. Вышел в сад. Там уже зацвели белые флоксы — любимые цветы жены. Вдыхал чудесный аромат, погрузив лицо в душистые соцветья.

Вдруг вспомнил призыв “Валькирии”. Марш русофобов скоро двинется по Страстному бульвару. “Пятая колонна” врагов пойдёт добывать многострадальные города, и только он может остановить это жестокое шествие.

Кольчугин поспешно вызвал шофёра и двинулся в пылающую жаром Москву.

Он оставил машину в Каретном ряду и мимо “Эрмитажа”, где играла легкомысленная эстрадная музыка, спустился по Петровке к бульвару. Перегораживая улицу, патрульные машины разбрасывали тревожные вспышки. Полицейское оцепление процеживало редких прохожих. Страстной бульвар был пуст, без фланирующей толпы, и Кольчугин, оказавшись под деревьями у памятника Высоцкому, чувствовал пугающую пустоту. Казалось, воздух улетучился, и стало трудно дышать. Деревья бессильно поникли ветвями, а букетик цветов у подножия памятника исчез от палящего жара. Такая удручающая пустота случается перед началом грозы или в канун землетрясения, когда замирают звуки, и собаки трусливо прижимают уши, улавливая подземные гулы.

Кольчугин смотрел вдоль бульвара и видел туманную тьму, железную дымку, в которой что-то мерцало, шевелилось, перекачивалось. Казалось, движется вулканическая лава, окружённая металлической гарью. Он чувствовал тупое давление, которое передавалось через пустое пространство.

Показалась колонна демонстрантов. Её змеиная голова отливала воронёной сталью, шипела, жгла, польхала прозрачным пламенем. Воздух сторал, испарялся. Колонна казалась гибкой, упруго пульсировала, но Кольчугин чувствовал её металлический стержень — сверхпрочный, броневой сердечник. Она шла, чтобы крушить неприступные стены, пронзять стальные преграды. В ней была реликтовая, накопленная веками энергия, сокрушающая народы и царя.

Впереди колонны шла когорта атлетов в тёмных блестящих рубашках. Они маршировали, чеканили шаг. Вскидывали руки, восклицая: “Слава Украине!” Другие, с тем же взмахом руки, откликались: “Героям слава!” Над колонной колыхался огромный жёлто-голубой флаг с витиеватым украинским трезубцем, и качался портрет Бандеры — короткая стрижка, упрямые жестокие губы, хмурые, глядящие исподлобья глаза.

Следом за атлетами шагали девушки в белых рубашках с алой, словно огненной вышивкой. Одни были в венках из васильков и ромашек. Другие несли свежие ветки берёзы.

Кольчугин чувствовал аромат берёзовых листьев, свежесть и силу девичьих тел. И его пугала эта сила и молодость, направленные против него, отвергавшие его слабость и дряхлость.

Стальной наконечник протыкал Москву. Как игла, тянул за собой разношерстную нить шествия.

То и дело взлетали руки, и множество голосов азартно и весело скандировало: “Бандера придёт — порядок наведёт! Бандера придёт — порядок наведёт!”

Эти дразнящие возгласы, безнаказанно звучащие в центре Москвы, пугали Кольчугина, говорили о бессилии власти, сулили расправу, готовили страшный реванш. Из безымянных могил, из разрушенных схронов вставляли бандеровцы и шли в свой мстительный победный поход.

Тонконогие девушки с хохотом, взявшись за руки, подпрыгивали, озорно выкрикивая: “Кто не скачет, тот москаль! Кто не скачет, тот москаль!” Вся колонна, молодые и пожилые, начинала подпрыгивать, словно скакало по Москве яростное стадо кенгуру. И Кольчугину казалось, что его сейчас затопчут.

Он узнавал в толпе тех, кто два года назад наполнял Болотную площадь кипящей лавой. На время они исчезли, укрылись в своих конторах и офисах, стали невидимы. И вновь появились в пугающем множестве, с неизрасходованной страстью и яростью.

“Майдан, Майдан! Бандера, Бандера!” — катилось вдоль колонны. Казалось, у огромной змеи начинает блестеть чешуя, и Кольчугин чувствовал едкий запах струящегося мускулистого туловища.

Он различал в колонне давних врагов, с кем сражался на страницах газет, у микрофонов на митингах, в телеэфире. Здесь были гневные и насмешливые полемисты, ненавидящие государство политики, язвительные русофобы. Здесь был художник, несущий рисунок отвратительного карлика с надписью: “Наш президент”. Здесь был Шутник с седеющей копной волос, из-под которой мерцали жёлтые совиные глаза; и Мизантроп с вислым носом и голубоватым, как кладбищенская луна, лицом; и Русак с курчавыми пейсами и мокрыми, неутомимо говорящими губами. Здесь был известный поэт, который катился, как шар, не имеющий ни рук, ни ног, весь в прозрачных складках жира; и Валькирия со смертельно бледным лицом и рыжими волосами, напоминающими хвост кометы.

Колонна струилась, взбухала, сжималась, растягивалась, как возбуждённая кишка. Проталкивала сквозь себя лишние комья ненависти.

Кольчугин чувствовал её страшную силу, её неотвратимый удар, направленный на розовые стены Кремля, на фрески Грановитой палаты, на хрустальные солнца Георгиевского зала, на обессиленного, брошенного всеми президента. На беззащитную страну, которая опять становилась добычей врагов. И никто — ни оробевшие, стыдливо понурые полицейские, ни чиновники, разбежавшиеся врассыпную, ни грозные силовики, побросавшие свои ордена и мундиры, — никто не остановит этот страшный таран, не встанет на пути стенобитной машины, не закроет грудью золотые надписи с именами гвардейских полков. Только он, Кольчугин.

Красная муть хлынула ему в глаза. Он вытянул руки и кинулся на колонну, желая схватить змею, сжать в кулаках её скользкое тело:

— Назад! Не смей! Не пуцуй!

Он кого-то схватил за рубаху, кого-то толкнул. На него удивленно смотрели. Его узнавали:

— Кремлёвский холуй! Денщик президента! Старый маразматик! — кричали они ему, смеялись в лицо, отталкивали. Какой-то молодой человек больно его пихнул. Какая-то девушка нацепила ему на голову веночек ромашек. Какой-то демонстрант в расшитой рубахе плеснул в него зелёной. Жидкость обожгла щеку, полилась на рубаху, испачкала её ядовитым изумрудом.

Кольчугин охнул, отшатнулся. Колонна, шелестя и звеня, проструилась мимо. Стекла вниз по бульвару к Трубной, исчезая в железной дымке.

Вернувшись домой, Кольчугин долго бродил по квартире. Наконец, усеся в кресло, вспомнил, как однажды, холодной осенью, жена подошла и накрыла ему ноги тёплым пледом. Прилёг на диван и вспомнил, как дремал на этом диване и сквозь дрему слышал звяканье посуды на кухне, запах малинового варенья. Жена поставила на плиту алюминиевый таз, в котором кипела алая сладкая гуща.

Он вдруг подумал, что почти не помнит своих детей. Не помнит, как они выросли. Не помнит драгоценных переливов, когда каждый день дарит что-то новое, восхитительное, и память удерживает первый детский лепет, первые шаги, первое произнесённое слово. Жена, уже во время болезни, умилённо вспоминала множество случаев, смешных и милых, связанных с детством сына и дочери. Казалось, она держит перед глазами невидимую раковину в переливах перламутра и любит её. Ей хотелось вовлечь в эти воспоминания Кольчугина, но он ничего не помнил. Дети росли без него. А он, одержимый странствиями, погоней за впечатлениями, уносился из дома, упиваясь видом свежего газетного листа, где был напечатан его очерк о военных учениях, о стратегических бомбардировщиках, летящих к полюсу, об атомных подводных лодках, уходящих в автономное плаванье. И этот

свежий, пахнувший типографской краской газетный лист заслонял от него играющих на ковре детей, жену, прекрасную в своём материнстве, её бессонные ночи, когда дети болели, её бесконечные труды, когда она стирала, мыла, лечила, утешала, ставила детские спектакли, устраивала новогодние ёлки.

Но нет, он помнил несколько случаев, связанных с маленькими детьми!

Рождение дочери в тёплый апрельский день, когда деревья были в зелёном тумане, и он ждал жену у родильного дома с букетом цветов в счастливом недоумении. Он, отец, сейчас увидит своего первенца, и что это изменит в его судьбе? Медсестра с румяным лицом, похожая на кустодиевскую купчиху, вынесла белый кокон, перевязанный розовыми лентами. И следом — жена, бледная, с огромными сияющими глазами, в которых было обожание, умиление и мольба. Словно молила этот огромный город, этот грозный рокоучий мир принять её чадо, сберечь, полюбить, не причинить страданий. Он вложил в пухлую руку медсестры конверт с дарением и принял лёгкий свёрток, в котором среди белоснежных материй, в глубине что-то таинственно светилось, дышало — живое, почти невесомое — его дочь. Он старался понять своё чувство к ней, пережить своё отцовство. Но испытывал лишь весёлое недоумение, неловкость движений, боясь уронить или неосторожно сжать лёгкий кокон.

Дома их ждала родня: бабушка, мама, тёща. Был накрыт стол, сияли умытые окна. Он положил драгоценный свёрток на кровать, и жена любовно и бережно развязала ленты, раскрыла его. И обнаружилось маленькое розоватое тельце с приподнятыми ножками, хрупкими, как стебельки, ручками. Кольчугина поразили крохотные нежно-розовые ноготки на шевелящихся пальчиках рук. Жена показывала сотворённое ею чудо, и на её прекрасном лице были гордость и восхищение. Она призывала всех восхищаться.

Бабушка подошла, прилегла на кровать, приблизила к младенцу своё сморщенное, коричневое лицо и молча, долго смотрела на свою правнучку. На её перламутровое тельце, которое слабо вздрагивало от таинственных биений. Бабушкины карие глаза, почти невидящие, замерли, не моргая. Казалось, между ней и ребёнком установилась незримая связь, прозрачный световод, по которому бабушка переливала в правнучку все родовые преданья, всё родовое наследие. Готовясь покинуть мир, она вдыхала в правнучку свою исчезающую жизнь, продлевая существование рода, направляя его в бесконечность. Кольчугин благоговейно созерцал это таинство. Чувствовал линию жизни, на которой они все поместились.

Это воспоминание умиротворило его. Свой день он завершил тихо, успокоившись от дневного потрясения. Не включал телевизор. Чёрный прямоугольник таил в своей глубине зрелища убиваемых городов, и он не позволял этим зрелищам всплыть на поверхность.

Он достал из шкафа клетчатый плед. Сел в кресло и укрыл себе ноги, как это сделала когда-то жена.

“Спасибо, милая”, — произнёс он неслышно. Сидел в долгих сумерках, глядя на гаснущий за окном сад.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Утром ему позвонила активистка Лапунова, та, что участвовала в токшоу “Аналитика”. Её энергичный, требовательный голос с первых же слов вызвал у Кольчугина едкую неприязнь. Воскресил недавнее унижение, отвращение к лживому телеканалу, который устроил ему ловушку, вырезав его страстное обращение к президенту. И он ответил Лапуновой решительным отказом ехать на митинг в Останкино.

Он полил цветы на окнах, те, что раньше поливала жена. Хотел вернуть себе вчерашние чувства, когда память, блуждая в прошлом, отыскивала среди ошеломляющих зрелищ, военных походов и государственных переворотов драгоценные воспоминания о детях, о кратких мгновениях, когда все они собирались вместе.

Вот они с маленьким сыном идут через поле картошки. Сын едва возвышается над ботвой, цепляется за стебли, семенит в борозде, боясь отстать. А в нём такая острая нежность, любовь к его круглой голове, маленькому торопливому телу. Сын страстно стремится не отстать, не потеряться в огромном поле, в огромном мире, где ему опорой служит отец, его сила, доброта и любовь.

В осенней деревенской избе они всей семьёй собрались у горящей печки. Красные язычки на стене. Жена прижала к себе детей, а он кочерёжкой шевелит дрова, окружая их красными искрами. Захлопнув дверцу, продолжает рассказывать бесконечную сказку, которую тут же выдумывает. Про волшебных муравьев-канатоходцев, про злобных карликов и добрых лилипутов, про птицу Ночь, которая летает над заснувшей деревней. И в детях — такое страстное внимание, нетерпение, и сама жена, как дитя, внимает его фантазиям.

Они вышли на берег ледяного ночного озера, над которым стояла огромная голубая луна. Он подобрал прозрачные ледышки, раздал детям, жене, и они сквозь ледяные линзы смотрели на луну. Лица дочери, сына, жены в голубых таинственных отсветах. Он зачарован огромным волшебным миром, в который они явились и где теперь неразлучны навеки.

— А на Луне люди водятся? — спросила дочь.

— Мы с вами лунные люди, — сказала жена.

— Лунные люди, — заморозченно повторил сын.

Жена кинула на озёрный лёд ледяное стёклышко, и оно зазвенело, покатилося, мерцая, исчезая в сумерках.

Кольчугин вслушивался, ловил тот далёкий звон.

Опять раздался звонок. Он услышал требовательный, возбуждённый голос Лапуновой:

— Дмитрий Фёдорович, включите телевизор! Посмотрите, посмотрите, с кем “мастера культуры”! А вы не хотите идти на митинг!

Раздражённый, повинувшись бесцеремонному требованию, Кольчугин включил телевизор.

Известный рок-музыкант Халевич пел свою бравурную песню о лазурной птице, приносящей победу и счастье. Он пел её в расположении украинских войск в районе покорённого Славянска. В парке с поломанными деревьями, среди разрушенных стен сидели на земле солдаты. Гремел и танцевал на месте ударник. Саксофонист раскачивал из стороны в сторону саксофон. Патлатый пианист вонзал длинные пальцы в синтезатор. Халевич, со своим характерным лицом смеющейся белки, двигал плечами и бёдрами, исполняя гремучую песню. Солдаты хлопали, свистели, раскачивались. На коленях лежали автоматы. Лица были исхудалые, загорелые, опалённые боями.

Кольчугин чувствовал, как его истощённые мышцы начинают крепнуть от ненависти. Скулы сводила судорога отвращения, слезящиеся глаза наполнились злым блеском.

Перед ним был враг — беспощадный, неистребимый, бессмертный, возникший из тьмы веков, чтобы терзать его родную землю. Эта песня была ритуальным псалмом, накликающим смерть на Россию. Птица, о которой он пел, была синей смертью, которая выклёвывала глаза младенцам. Победа и счастье, о которых он пел, были победой над русскими, счастьем увидеть их поражение. Солдаты, опьянев от ядовитой огненной музыки, шли к своим гаубицам и “Градам”, продолжая стирать с земли города Донбасса. Эту музыку слышали в застенках пленные ополченцы, у которых битами ломали кости. Колдун с лицом хохочущей белки глумился над Кольчугиным, над его бессилием и немощью.

И вид этого ненавистного, с беличьими резцами лица распечатал в нём потаённый ключ страсти и ярости. Он снова был боец, был в строю. Торопливо собрался, вызвал шофёра и отправился на митинг.

Митинг собирался в Парке культуры, на берегу Москвы-реки, в месте, отведённом властями под всевозможные сходки и собрания, которыми кипело недовольное общество. Кольчугин оказался среди многолюдья, которое стекалось, сплалось в сгустки. Кружилось в водоворотах, образуя сложную

смесь партий и групп, со своими вождями, стягами, патриотическими листовками. Некоторые явились в футболках с эмблемами своих организаций. Другие навязчиво раздавали крохотные газетки и воззвания. Были заметны странные персонажи — длинноволосые, бородатые, то ли в рясах, то ли в долгополых рубахах, словно явились на митинг из восточных монастырей, из колдовских урочищ, с языческих богомолий.

Кольчугину была знакома эта патриотическая толпа, в которой, наряду с коммунистами, монархистами, евразийцами и националистами, появлялись эти загадочные *посланцы древней Руси* — колдуны, волхвы и попы-расстриги.

Было солнечно, жарко. По реке среди солнечных бликов плыли трамвайчики. В стороне плескалась музыка аттракционов, раскачивались огромные качели, звенели “американские горки”. Крымский мост парил над рекой, словно отлитый из голубого стекла, в котором струились прозрачные энергии света. Кольчугин любовался этим световодом, соединившим Крым и Россию, а Россию — с небесной бесконечностью, из которой в русскую душу проливался фаворский свет.

Среди клубящейся толпы была установлена невысокая трибуна, стояли громкоговорители. Кольчугин не спешил к трибуне, останавливался то у одной, то у другой группы. Прислушивался к молве. Повсюду говорили о Новороссии.

— Слушайте меня, одна женщина сказала, что эта война через двадцать дней сама собой разрешится. Как руками разведут, — это говорила остроносая особа с бойкими сорочьими глазами, какие бывают у разносчиц слухов. — Эта женщина ехала в автобусе и сказала вдруг, что война сама собой рассосётся. “Не верите мне? — говорит. — Так вот, смотрите. Сейчас остановка. Я сойду, войдёт милиционер и сядет на моё место”. На остановке она выходит, заходит милиционер и садится на её место. Хотите — верьте, хотите — нет! — Особа блеснула круглыми сорочьими глазами и заспешила к соседней группе, чтобы там повторить свою историю.

— Это наши специально бомбежку устроили. Люди бегут в Россию, селятся, работу получают. Нам рабочие руки нужны, а то в России русских совсем не осталось. Для того и бомбят. — Суровый мужчина с мучительной морщиной на лбу был из тех тугодумов, кому вдруг открывается неожиданный морщина, и они упрямо несут её в своей тёмной одинокой морщине.

— Вы говорите, почему это президент войска не вводит? А я отвечу. Ему американские генералы показали карту, на которой видно, что нам войны не выиграть. Ихние ракеты все наши шахты, самолёты и лодки в первые полчаса сожгут. Мы и пальнуть не успеем. И его секретное убежище им тоже известно. Его там специальной ракетой достанут. Вот наш-то и испугался. А как же? Своя жизнь дороже! — Это говорил едкий маленький человечек, насмешливо оглядывая собравшихся. В его глазах светилось всеведение, превосходство над непосвящёнными собеседниками.

— Им, ребятам донецким, кое-чем помогают, что здесь не нужно. Какое-никакое оружие сунут, которым ни танк, ни самолёт не побить. Вот и пусть сражаются, пока их всех не перебьют. Они, в Донбассе, своих богатеев к стенке поставили, красный флаг повесили, а нашим богатым это никак не нравится. Вот и подставляют под бомбы, чтобы всех перебили. — Человек в красной футболке с советским гербом обвёл всех покрасневшими глазами, словно его мучила бессонница с неотступной тоской.

— В Киеве хазары власть захватили. Была Украина, а теперь Хазария. Они в Донбассе русских добьют и за Крым возьмутся. Мы с мужиками едем в Донбасс с хазарами биться. — Это произнёс молодой парень в чёрной футболке, на которой красовался белый череп и надпись: “Православие или смерть”.

— А что я вам скажу, люди добрые. В монастырях за войну молятся, чтобы быстрее случилась. Война всю дрянь спалит, народ очистит. Много в народе дряни развелось, — бородатый, с жёлтым лицом мужичок в линялом подрыснике и стоптанных башмаках паломника перекрестился и пошёл дальше. Он пробирался среди разноцветных футболок, красных стягов, геор-

гиевских лент. И над всеми, сотканный из голубых лучей, парил Крымский мост, источал бестелесную энергию света.

— Дмитрий Фёдорович, что же вы не идёте? Мы начинаем! — из толпы возникла взволнованная Лапунова со своей кокетливой чёлкой и потащила Кольчугина к трибуне.

Первым выступал священник, степенный и благообразный. Смирненным голосом проповедника он призывал к миру народ, охваченный междоусобной бранью, ратовал за скорейшее прекращение боевых действий и за мир на многострадальной украинской земле.

Площадь отозвалась недовольством, глухим ропотом, даже свистом. Никто не хотел примирения — все хотели сражаться и побеждать. Кольчугин видел, как был смущён священник, который ушёл с трибуны и стал выбираться из толпы, покидая площадь.

Нещадно пекло. Над Москвой-рекой стояла пепельная туча с оплавленным краем. Вода казалась кипящим свинцом, по которому плыли трамвайчики.

Выступал лидер евразийцев — рыжебородый, с огромным сияющим лбом, манерами кафедрального профессора, который неистово отстаивает свою теорию.

— Битва за Новороссию — это битва за Евразию! Кто владеет Новороссией, владеет Евразией! Атлантисты, ведомые англосаксами, посягнули на великие пространства бассейнов Дона и Волги, стремясь прорваться к Уралу и в Среднюю Азию! Они посягнули на храм Василия Блаженного, на пагоды Тибета, на мечети Ирана! Началась битва миров! Ополченцы Донбасса — это витязи Евразии! Они истекают кровью на блокпостах Донецка и Луганска, и надо немедленно ввести русские войска для отражения атлантистов! Русские танки должны пройти по улицам Львова и Киева, а если надо, то и по улицам Варшавы и Берлина! Пусть не пугают нас ядерной войной! Рабство страшнее любой войны! Наш президент, глубинный евразиец, окружен атлантистами! Они взяли в плен его душу и разум! Поэтому он медлит с вводом войск! Освободим от атлантистов президента! Освободим от атлантистов Новороссию! Слава Евразии и её славным витязям!

Выступал предводитель партии “Великая Русь” — невысокий, точёный, изящный.

— Войска не вводить! Россия не выдержит большой европейской войны! Совокупный военный и экономический потенциал НАТО превышает возможности России в сто раз! Кто призывает к войне, тот провокатор и враг президента! Новороссию поддержим добровольцами и негласными поставками оружия! Люди нашей партии сражаются на блокпостах Донецка, в то время как другие загорают на пляжах Евразии! Берегите президента! Без него у России отберут Крым, а потом Урал и Сибирь! Государство нельзя доверять истеричным профессорам и политическим безумцам!

Кольчугину казалось, что он сейчас рухнет. Больше не было воздуха, и он задыхался в безвоздушном пространстве раскалённого города. Вода в реке почернела, и кораблик плыл, сражаясь с ядовитыми волнами. Крымский мост казался свитым из чёрных и синих жил, набряк, как сведённый судорогой мускул. Дико, безумно звенели в стороне аттракционы.

— Дмитрий Фёдорович, теперь вам! — Лапунова подтолкнула его к микрофону.

Кольчугин почувствовал, как его колыхнуло. Хотел ухватиться за хрупкий штатив микрофона, но удержался и некоторое время стоял, видя вместо площади разноцветный туман. Туча высилась над головой, похожая на огромного быка. Часть города ещё сверкала на солнце, но другая уже была во мраке. И он подумал, что мир явил ему картину вечного сражения, битву света и тьмы, и его смертная жизнь таинственным образом включена в эту схватку.

— Что мне вам сказать, люди русские? — Его голос в микрофоне дрожал, предвещая рыдания. — Я не знаю, что чувствует президент, видя, как в детских гробиках лежат убитые дети. Как цветущие города, построенные нашим великим народом, разрушаются бомбами и ракетами. У президента есть совесть, есть боль, есть тысячи неизвестных мне обстоятельств, побуж-

дающих его действовать так, как он действует. Что я могу, русский писатель, проживший долгую жизнь? У меня нет воздушных армий, нет танковых колонн, нет установок залпового огня. У меня есть мои книги, те, что написаны, и та, что ещё не написана. Книга о городах-мучениках, которые убивают у всех на глазах. Я поеду в Новороссию и напишу эту книгу. И я хочу, чтобы это была книга любви, книга ненависти, книга возмездия!

Над головой в чёрной туче пророкотало, словно в ней провернули тяжёлый вал, и мрачно сверкнули колёса, растворяющие тяжкие створы ворот. Дунул холодный ветер, ударили острые, как пули, капли.

Отталкивая Кольчугина от микрофона, выскочил бородатый, с безумными глазами человек в рваной рубахе, под которой виднелись какие-то железные цепи и скобы:

— Все вы бесы проклятые! В Россию бесы слетелись! Опять Россию кровью умоют!

Треснуло в небесах. Из трещины упал ослепительный белый огонь. И этот слепящий блеск, и рваный грохот, и истошные крики бородатого безумца кольхнули толпу, и она превратилась в яростные клубки. В ненависти схватились “красные” и “чёрные”, “жёлтые” и “белые”. Дрались, рвали друг на друге одежду, на них падал гремящий ливень, топил, глушил, и они, продолжая драться, покидали площадь.

Кольчугин один стоял на трибуне среди громящей воды. Всё вокруг было непроглядным, размытым. И только Крымский мост был похож на железный ковчег, плывущий среди потопа.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Прежде в походы его собирала жена. Её проводы, её напутствия вдохновляли его, избавляли от дурных предчувствий, и теперь он нуждался в этих утешениях и напутствиях. Так когда-то его мать провожала на войну отца. Тот ушёл и больше не вернулся. Его бранные кости лежат в Сталинградской степи в безвестной могиле.

Кольчугин решил отправиться в церковь, которую посещала жена. Там же в осенний солнечный день она лежала в гробу, усыпанная астрами и хризантемами.

Церковь была стройной и светлой, с каменными наличниками, высокой золочёной главкой и аркой, сквозь которую шли прихожане. Внутри было прохладно, сладко пахло ладаном, в пятнах солнца бледно горели свечи. Золотились иконы, и священник отец Владимир, в золочёных ризах, с золотой бородкой, сам казался ожившей иконой. Кольчугин купил три свечи, приблизился к образу Богородицы, перед которым сиял подсвечник. Попытался зажечь свечу, подносил её к огоньку горевшей свечи. Глаза не видели, руки дрожали, и он всё время промахивался.

Кольчугин прислушивался к хору, в котором когда-то пела жена. Его чуткий слух в суеверной надежде ожидал услышать родной голос, и его отсутствие ещё сильнее напоминало о жене, которая так любила этот храм. Возвращаясь домой, она всегда приносила то розовый прутик вербы, то крашеное яйцо, то увядшую, тонко пахнущую веточку троичной берёзы.

Он выбрал место в церкви, где три года назад стоял гроб жены. Теперь это место пустовало. Он встал туда, где стоял в день отпеванья, близко к изголовью, откуда был виден белый выпуклый лоб жены, её строгие тёмные брови и сжатые губы. На мгновенье он почувствовал горячую волну близких слёз, но не пустил их. Смотрел туда, где таинственно и прозрачно витал образ жены, и снова видел множество роз, хризантем и лилий, уложенных поверх её недвижимого тела.

Он пришёл в храм, чтобы повидаться с женой. Получить от неё напутствие перед тем, как отправиться на свою очередную войну.

“Провожать тебя я выйду, ты махнешь рукой”, — печально говорила она, отпуская его в Афганистан или в Анголу, или в Эфиопию. Подводила к чёрной “Волге”, которая уносила его в аэропорт. И некоторое время, по-

ка самолёт резал крылом синеву, образ жены следовал за самолётом, её лицо прижималось к иллюминатору, а потом исчезало. В стреляющих горах или джунглях он почти не вспоминал о ней, окружённый солдатскими паннами, хлюпающей сельвой, красными бинтами лазаретов.

Но, Боже, как прекрасно было её лицо, когда он возвращался домой! Звонил в квартиру. Дверь распахивалась. И, казалось, распахивается её лицо, полное изумления, восхищения, лучезарного света. Он влетал в этот свет, купался в нём. Очищался от копоти, жестокой ярости, болезненной страсти, заставлявшей его двигаться в военных колонах, созерцать гибнущие континенты.

Шла служба. Появлялся и исчезал отец Владимир. Развешивал синий дым, плыл в золочёном облачении, не касаясь земли. Хор в своих песнопениях тянул бесконечную пряжу, завораживал. Таинственный язык, на котором шло богослужение, был понятен Кольчугину не словами, а восхитительной музыкой этих слов. Они постигались не разумом, а печальным и любящим сердцем.

Синие волнистые горы с гаснущей зарёй, и он сидит в ночном саду незнакомой виллы. Вокруг него зелёные светлячки танцуют бесшумный танец. И назавтра с отрядом сандинистов он уйдёт в стреляющую сельву, неся на плече трубу миномёта.

Марлевый полог в номере придорожной гостиницы и огромная, как желтый лимон, луна. Её отсвет на стволе автомата, на стакане с водой, на сподяных крыльях летающих муравьёв, покрывших стол дрожащей чешуей. Наутро с колонной вьетнамцев, преследующих отряды Пол Пота, он углубится в душные джунгли. Алебастровый слон, иссечённый осколками, мелькнёт на обочине.

Коричневые минареты Герата. Вертолёты, скользя между ними, идут на удары, выпускают чёрные остроконечные вихри. Боевые машины пехоты втискиваются в тесные улицы, поливая огнём глинобитные стены. Он вцепился в кромку раскрытого люка и успел разглядеть раздавленный гусеницами куст красных роз.

Кольчугин слушал хор, в котором голоса струились, как тихие стебли, и в них недоставало лишь одного, бесконечно любимого голоса.

Вера жены, которая тихо, год от года, расцветала в ней, её хождения в храм, книжицы и жития, с которыми она возвращалась оттуда, её иконки, которыми она увешивала стены своей комнаты, её посты, паломнические поездки — всё это было связано с ним, с его военными походами — она молилась о нём.

Однажды ночью она сказала:

— Ты чувствуешь, как я молюсь о тебе? Чувствуешь, как моя молитва тебя заслоняет?

Тогда, в их московской квартире, в ночи с отсветами ночных фонарей, он ничего ей не ответил, только поцеловал её тёплую шею. Теперь же, в церкви, он ясно, с поздним обожанием и слёзной любовью стал вспоминать военные случаи, когда к нему приближалась смерть и промахивалась, отведённая её молитвой.

Их вертолёт летел в Эритрее над руслом сухой реки. Изнывающие от жажды животные сошлись к липкой луже: коричневые антилопы, седые косули и два тощих, ободранных волка. Из чахлах деревьев хлестнул пулемёт и пронзил обшивку у его виска. Он видел, как светится пулевое отверстие, чувствовал, как дует сквознячок промахнувшейся смерти.

Под Кандагаром, у кишлака Таджикиан он сел на броню БТРа. Почему-то не того, что прошёл вперёд с группой сапёров, а второго, где сидел горбоносый прапорщик, протянувший ему руку с брони. Головной БТР взорвался, наскочив на фугас, и рыжий сапёр, отброшенный взрывом, лежал на обочине. Взрыв, поразивший сапёра, предназначался ему, но чья-то неслышная воля заставила его пропустить головную машину.

В Анголе он пробирался на юг, к границе с Намибией, где партизаны уходили в рейды, взрывали водоводы, высоковольтные вышки. Возвращались на базу, неся на плечах убитых и раненых. На двух машинах они про-

двигались по пустому шоссе. Где-то горели леса, пахло дымом. Толпы жуков, рогатых, с лиловыми панцирями, перетекали шоссе, хрустели под колесами. После краткого отдыха командир, чернолицый и белозубый, с косой бородой, напоминавший Толстого, попросил его пересесть в другую машину. Сам же сел в первую и помчался вперёд. Низко над шоссе, вслед ушедшей машине, пролетела “Импала” — лёгкий бомбардировщик буров. Вдали прогремел глухой взрыв. Через час они тронулись в путь и увидели уничтоженную бомбой машину. Чернолицый командир лежал у колеса с обугленной бородой, и белозубый рот был полон крови.

Служба кончилась. Отец Владимир вышел с крестом. Прихожане смиренной вереницей потянулись к кресту. И вдруг среди женщин, среди их платков и долгополых платьев, он угадал жену — в повороте головы, в сходстве приподнятых плеч. Понимал, что ошибся, что появление её невозможно, но испытал потрясение. Всё путалось, менялось местами. Время утратило свою последовательность и сложилось в невозможный, немислимый ряд. Молодая жена с голыми плечами кормит грудью младенца, и тут же лежит в гробу с чёрной мукой в бровях. Колонна БТРов идёт в горах с лимонной зарёй... Бабушка несёт в его детскую спальню чашку с настоем шиповника... Мамина акварель на стене, он видит её отражение в зеркале, а по Луганску бьют гаубицы, выкальывая квартал за кварталом.

Голова кружилась, словно он попал на карусель, и вокруг, среди свечей и лампад, проносились лица и зрелища. Этот вихрь однажды подхватил его, поместил на огромное “колесо обозрения”, вознёс до неба, показал континенты и страны, одарил несказанным счастьем и теперь опускает вниз, в тихие сумерки, где ему предстоит исчезнуть.

Он стоял, охваченный паникой непонимания жизни. Подошёл к кресту, поцеловал распятие и белую руку священника.

— Помолитесь обо мне, отец Владимир.

— Помолюсь, — тихо ответил тот.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Кольчугин знал человека, который здесь, в Москве, помогал ополченцам Донбасса: принимал на банковский счёт пожертвования, отправлял в горящие города гуманитарную помощь, тайно отсылал добровольцев, которые ехали в Ростов и оттуда, секретными переходами и тропами проникали в Донецк и Луганск. Человека звали Новицкий Игорь Константинович. Он был подполковник запаса, а познакомился с ним Кольчугин на Второй чеченской, когда тот, в звании капитана, был приставлен к Кольчугину, чтобы опекать его на войне. Вместе они на измытанном БТРе катили в предгорьях Кавказа, и толстые колёса машины выдавливали из земли вязкую зелёную нефть. Вместе мчались по безлюдному Грозному среди закопченных развалин, в резиденции Масхадова на полу валялись окровавленные бинты и простреленный синий глобус. Вместе на вертолёте летели над Сунджей, повторяя путь Басаева, который выводил свой отряд из Грозного и попал на минное поле. Вдоль чёрной, с остатками льда реки тянулась бахрама разноцветного мусора: цветные одеяла, расколотые санки, тела убитых. Словно вдоль берега проехал огромный мусоровоз, роняя по пути рыхлую поклажу. В Ханкале, поджидая борт на Моздок, шли из фляжки водку, глядя, как возвращаются с задания вертолётные пары.

Теперь они встретились, и в этом полном лысеющем человеке Кольчугин едва узнал худого подвижного офицера.

Кольчугин вдруг остро подумал, что его сборы в Новороссию проходят без участия жены. Без её хлопот, волнений, тайных слёз, покорного взгляда, ночных стояний перед домашним киотом с малиновой лампадкой. Истощение её сил, увядание её красоты, надрыв её души были связаны с этими постоянными проходами.

Тот проклятый 91-й, когда завершалась безумная “перестройка”, эта дрящящая годами истерика. Истирались в труху все столпы и основы страны,

и Кольчугин в ярости, в раскалённой ненависти сражался с губителями Родины. Статьи, выступления, обращения к народу, встречи с генералами, партийцами, директорами военных заводов. С теми, кто позднее составил заговор с целью спасти государство.

Жена трепетала в предчувствии беды, страшилась за него и детей. Слышала, как на их хрупкий очаг надвигается грохочущая тьма. Те дни, когда в город вошли войска, под окнами их квартиры на улице Горького шли танки, и синяя гарь долетала до распахнутых окон. А потом броня непобедимых машин расплавилась, как пластилин, и ликующие толпы вал за валом катились по улице, неся трёхцветное полотнище Ельцина. На Лубянке сносили памятник. Сбивали золочёные буквы с партийных зданий. Шли аресты заговорщиков. Телевидение называло имена организаторов и идеологов путча, и среди них — имя Кольчугина. Его грозились повесить на фонаре, требовали его ареста. Либеральный литератор Вигельновский предлагал сжечь его книги, а его самого в клетке возить по Москве. Ему казалось, что духи тьмы, нетопыри, летучие чудища реют над Москвой, выскивая его, хлещут крыльями по стёклам окон.

Та страшная ночь в ожидании ареста. Под окнами стучали молотки — готовили эстраду для выступления музыканта Халевича, затеянного в честь победы демократии. А ему казалось, что внизу строят эшафот, и утром его поведут на казнь. Жена сидела рядом, обняв его.

— Положись на волю Господа. Ты всё делал правильно, я горжусь тобой. Я сейчас разбужу детей.

Она привела в кабинет сонных, полуодетых детей, и они сидели, обнявшись, своим маленьким тесным мирком среди грозного жестокого мира, где рушились царства, начинали дымиться материки. Под окнами стучали топоры, выкатывали плаху, и с первым рассветным лучом их разлучат. Его поведут на казнь, а она и дети станут смотреть, как кладут на колоду его голову, которую когда-то она целовала в зимней избушке.

— Я тебя люблю. Как тогда, в наши чудные дни.

Сидя в квартире у Новицкого, Кольчугин не вслушивался, как тот обсуждает с какими-то людьми возможность отправки Кольчугина в Новороссию. Он старался не потерять возникший в душе звук, мучительный и прекрасный. Не отпустить от себя образ жены, просиявший сквозь мглыное время.

Тот чудовищный 93-й, когда в Доме Советов собирались при свечах депутаты, баррикадники волокли пучки арматуры, гнилые доски, глыбы асфальта, громоздили у подъездов колючие ворохи. Кольчугин с балкона призывал в микрофон к восстанию, двигался в чёрной толпе среди красных знамён, катил в грузовике к “Останкино”, где грохотали пулемёты, вырывая из толпы кровавые клочья. И жутко, чадно горел белоснежный дворец, весь в языке жирной копоти, а танки с моста всё били и били, и на белой стене отекала страшная клякса. Кольчугин бежал из Москвы и в глухой рязанской деревне слушал по радио вести о разгроме восстания, об арестах народных лидеров. В перечне убитых находился и он. Не мог сообщить жене, что жив, тосковал, глушил с хозяином водку. Надрывно и горько пел песню о степных пожарах, о грае чёрного ворона, заклевавшего ясного сокола. Через неделю, когда отменили военное положение, он вернулся домой. Жена встретила его на пороге, обугленная, с провалившимися глазами. Рыдала, кидалась ему на грудь, обморочно оседала на пол. И снова рыдала, хватая его за руки, боясь, что он снова уйдёт.

— Господи, Боже мой! За что же всем нам такое!

С этих пор в ней поселилась болезнь. Исчез чёрный стеклянный блеск волос, и густо, серым пеплом выступила седина. Томила бессонница. Она часто плакала. Зачастаила в церковь. Он с детьми старался её утешить, замечая, как в ней иссякает сияющее жизнелюбие, очаровательная женственность, восторженная поэтичность.

— Дима, посмотри, какая я некрасивая.

Он обнимал её, и она тихо плакала у него в объятьях.

Наконец, Новицкий закончил переговоры с людьми и посмотрел на Кольчугина долгим взглядом, каким смотрят на огонь или текущую воду.

— Хорошо, Дмитрий Фёдорович. Подождите несколько дней. Я свяжусь с Ростовом. Узнаю, когда группа добровольцев пересекает границу. Вас там примут.

— Спасибо, брат.

— А помните, Дмитрий Фёдорович, в Ханкале мы встретили бойцов спецназа, которые летели на задание? У одного на спине была надпись. “Нам нужен мир. Весь мир”.

— Должно быть, он был писатель.

Они обнялись, и Кольчугин покинул комнату.

Дома он сидел в саду, глядя на рябину. Гроздья начинали краснеть. Резные листья светились тихим серебром. Это светилась жена, поселившаяся в дереве. Кольчугин подошёл к рябине. Отщипнул ягоду и положил в рот. Вкус был горький, печальный, как поцелуй жены.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

К нему в гости приехали дети, внуки, зять. Привезли торт, бутылку вина. Поставили под деревьями три автомобиля. Наполнили тихий дом хохотом, громкими голосами. Разбрелись по комнатам, стучали по деревянным лестницам.

Дочь Вера в вольном голубом сарафане, темноглазая, с сочными малиновыми губами, напоминала Кольчугину покойную жену. Она накрывала стол в саду. На яблонях обильно висели яблоки, и ветки под их тяжестью начинали клониться. Сын Юрий в элегантном летнем пиджаке, с красивой бородкой, отдалённо, своим высоким лбом и бородкой напоминал одного из дедов Кольчугина. Он открывал бутылку вина. Его сын Фёдор, студент, с округлым милым лицом и тонкой шеей, слушал своего двоюродного брата Кирилла, который только что вернулся с Красного моря, где плавал с аквалангом, любуясь подводным царством кораллов. Его сестра Катя, школьница, очаровательная, белозубая, восхищённо слушала брата, и в её обожающих глазах отражался сад, золотистые яблоки, лиловые флоксы. И вся она светила девичьей прелестью и доверием к прекрасному миру, в котором её окружали любимые люди. Зять Тимофей Тимофеевич, в семейном кругу Тим, резал торт, погружая нож в пышные кремовые розы.

Кольчугин из кресла наблюдал эти счастливые приготовления. Выбирал минуту, когда можно будет объявить о намерении ехать в Донбасс.

К нему подошёл сын Юрий. Потёрся о его щёку своей жёсткой бородкой, и Кольчугина тронула эта сыновья нежность. Вот кому он откроет свой план “донецкого похода”.

— Ну, как ты, папочка?

— Всё слава Богу. Как твои успехи?

Сын издавал новомодный журнал “Волшебная роза”, в котором печатались философские и литературные эссе, репортажи о художественных выставках, этюды о знаменитостях из мира политики, науки и культуры, а также рассказы восходящих литературных звёзд. Журнал приобретал популярность, был привлекателен своими яркими иллюстрациями, изысканным языком.

— Над чем ты сейчас работаешь, папа? Не хотел бы опубликовать отрывок из нового романа в моём журнале?

— Не думаю, чтобы это украсило бы твой журнал.

— Тебя знаешь, как называют молодые литераторы? “Прикольный динозавр”.

— Ты прав, моя литературная традиция берёт начало в Юрском периоде.

— Мне принесли прелестную маленькую повесть в стиле фэнтези. Герой отыскал на Северном Урале неизвестную страну, где люди общаются без слов, от сердца к сердцу. Это прообраз будущей цивилизации.

— Прообразом будущей цивилизации является Новороссия. Там, под бомбами, рождается новый мир, Новая Россия. Оттуда прозвучит новое слово жизни.

— Ну, нет, папа. Оттуда прозвучат только хриплые матерные слова. Это дурной эпизод современной истории. О нём скоро забудут.

Кольчугин испуганно умолк, словно между ним и сыном провели рытвину. Незаметно, год от года сын от него отдалялся, окружённый людьми, интересами, хлопотами, которые были чужды Кольчугину. Бесконечно далёкой казалась та лунная ночь, когда они всей семьёй вышли к замерзшему озеру, и сын сквозь ломтик льда заворожённо смотрел на луну, и по его детскому лицу скользил голубой лунный след.

К ним подошёл Федя, сын Юрия. Он был почти одного роста с отцом, но узок в плечах, с хрупкой шеей, на которой голова держалась, как бутон на стебле.

— Вот Федя с матерью только что вернулись из Штатов, — произнёс Юрий, приобняв сына. — Расскажи деду, что тебе там понравилось?

— Понравились люди. Они такие вежливые, приветливые.

— Чем ты там занимался? — Кольчугин всматривался в свежее, ещё не знающее бритвы, с лёгким пушком лицо внука, поражаясь тому, как быстро тот вырос. Из смешного, чувствительного ребёнка, проливавшего слёзы над хромым котёнком, он превратился в студента архитектурного института, склонного к глубокомысленным размышлениям. — Где побывал в Нью-Йорке?

— Я изучал небоскрёбы, фотографировал их. Смотрел на Бродвее мюзикл “Кошки”. Был в музее Гутенхайма и в музее космонавтики. Хочу написать курсовую работу “Стиль “Америка”. Мне кажется, в архитектуре, музыке, живописи, в достижениях науки и техники воплотилось то, что зовётся “Американской мечтой”.

— А ты бы не хотел написать работу на тему “Русская мечта”? Исследовать древнерусское искусство и русский авангард? — Кольчугин подумал, что мало общался с внуками, всё своё время посвящая книгам, путешествиям и политике. С внуками общалась жена, они обожали её, и он помнил, как рыдал Фёдор, когда узнал о её смерти. — Ты будешь архитектором, и города, которые ты станешь проектировать, должны выражать образ будущей России, “Русскую мечту”, как она дышала в русских сказках, в философии, в концепции “Москва — Третий Рим”, в поэзии Пушкина, в деяниях Сталина, в триумфе Победы. Попробуй написать такую работу.

— У меня для этого мало знаний, — смутился Фёдор.

— В Новороссии русские люди воюют за будущее, за “Русскую мечту”. Там разрушаются и горят города. Но война кончится, и надо будет строить новые города. Ты поедешь в Донбасс и построишь новые прекрасные города.

— Я боюсь войны, — сказал Фёдор и тихо отошёл туда, где его двоюродные брат и сестра играли в пинг-понг.

Сели за стол. Зять Тим-Тим раскладывал торт по тарелкам. Внук Кирилл разливал по бокалам красное вино и делал это умело, артистично, приподнимая горло бутылки, чтобы капли не упали на скатерть. Его красивое лицо покрывал чудесный загар, глаза светились мужской силой и благодушием счастливого человека, вкушающего радости жизни. Кольчугин считал его лоботрясом. Внук бросил институт, мотался без дела. Путешествовал, играл на саксофоне, проводил время в компаниях друзей, находясь на содержании у отца. Сам же Тим-Тим занимался недвижимостью, имел несколько квартир, в том числе в Болгарии, и не выглядел человеком, который надрывается на работе.

— Так что там, на курортах Египта? — спросил Кольчугин со стариковской язвительностью.

— Дедуль, на курортах прекрасно, — ответил внук, не обращая внимания на иронию деда. — Я там видел рыбу-молот. Это такая акула. Мы смотрели друг на друга, и представляешь, она не выдержала моего взгляда и уплыла.

— У Кирилла знаете, какой взгляд? — Катя обняла брата тонкой рукой, и тот перехватил её руку и поцеловал в ладонь. — Его взгляда никто не выдерживает. У Кирилла была подруга Нина, и он так на неё смотрел, что она ушла и больше не приходит.

— Она выходит замуж и приглашает на свадьбу, — засмеялся Кирилл.

Кольчугин устыдился своей иронии и своих стариковских претензий к этим счастливым людям. Они не желали разделять его страхи и горести. Эти были самые дорогие и близкие ему люди, и он был счастлив тем, что они навестили его.

— Дед, — Тим-Тим поднялся, держа бокал. — Я хочу выпить за твоё здоровье. Ты знай, что все мы тебя очень любим. Ты наш пращур. Мы жёлуди, выросшие на твоих ветвях. Ты для нас эталон. И не только для нас. Тебя любит народ. Твои книги стоят на полках миллионов людей. Желаем тебе крепости духовной и телесной. За тебя!

Все чокались с Кольчугиным, и он подумал, что сейчас самое время оповестить семью о своём намерении ехать в Донбасс. Но дочь Вера спросила:

— Папа, я недавно рассматривала фамильный альбом, и действительно, наш Юра очень похож на прадеда Михаила: та же борода, те же глаза. Он даже пиджак себе подобрал того же покроя. Что он за человек был, наш прадед Михаил?

Сын тонко усмехнулся и тронул бородку. Кольчугина вновь поразило это родовое сходство, которое волной передавалось из поколения в поколение. Возник образ деда, которого он помнил уже стариком, жёлчным, язвительным, всем и вся недовольным. Под старость его снедала губительная тоска.

— Дед Михаил — от сохи, из нашего молоканского рода. Отец его, Тит Алексеевич, был неграмотный, но крупно разбогател и всем своим детям дал превосходное образование: одного послал в Германию, в университет Гейдельберга; другого сделал инженером. Дочку отдал на Бестужевские курсы, и она впоследствии раскапывала Помпею. Дед Михаил стал химиком, но при этом увлекался живописью. Дружил с художниками “Мира искусства”. В его квартире на Страстном висели полотна Головина, Судейкина, Зиги Валишевского. — Кольчугин представил ту исчезнувшую комнату, где стоял рояль, стол украшала фарфоровая лампа под шёлковым абажуром, на стене висели картины с зарослями сирени, циркачами и клоунами, поражавшими его детское воображение. Капляющий дед всё курил и курил, окутываясь сизым дымом. — Когда началась очередная Русско-турецкая война, он ушёл в армию, командовал батареей горных орудий, которые в разобранном виде навьючивались на лошадей. Однажды под Карсом, в горах, отряд нашей пехоты попал под обстрел турок. Началась паника. Дед не растерялся, приказал развьючить и собрать орудия и прямой наводкой расстрелял турецкие цепи. За это он был награждён золотым оружием. Когда в Тифлисе ему вручали награду, при награждении присутствовал маленький цесаревич Алексей. Дед так разволновался, так был тронут видом хрупкого мальчика, что, в нарушение этикета, подошёл и поцеловал его. — Кольчугин испытал головокружение, какое бывает, когда смотришь в перевёрнутый бинокль, когда все предметы бесконечно удаляются, словно их уносит в даль. Этой далью было его детство. Дед Михаил в пыжиковой шапке, в худом пальто шёл по улице в московской метели. — Потом он попал в лагеря и работал на севере, на лесоповале. Как-то сказал мне: “Жалею, что не пошёл добровольцем в Белую армию”.

Кольчугин умолк. Дети и внуки молчали, задумавшись. Кольчугин подумал, что его память удерживает множество образов, доставшихся ему по наследству из времён, ему не принадлежащих. Сейчас он зачерпнул из прошлого ковшик воспоминаний, перенёс сюда и одарил этими воспоминаниями всех, собравшихся в семейном застолье. Быть может, когда-нибудь, когда его уже не станет, внуки поведают своим детям это семейное предание.

— Катя, принеси из дома гитару, — попросила дочь. Та ушла в дом и вернулась с гитарой — смуглой, медовой, инкрустированной перламутром. Гитара тихо забренчала в руках у дочери. Жена играла на этой гитаре и, даже когда болела, тихо пела свои чудесные песни, пленявшие его в первые месяцы их любви.

— “Мой друг рисует горы, далёкие, как сон, зелёные озёра да чёрточки лесов”, — дочь перебирала струны, прислушиваясь к рокошущим звукам. Она выбрала эту давнюю песню, романтическую усладу туристов, которая звучала в доме в её детстве. Кольчугин испугался забытых слов, которые пе-

ла ему жена в самые первые их чудесные дни. Они сидели вдвоём в комнате, окна выходили к железной дороге, и в сумерках бежали огоньки электричек, мерцающие бусинки. Она пела, поднимая на него глаза, и он восхищался золотыми переливами её любящих карих глаз.

Дочь тряхнула головой, ударив по струнам с той же озорной весёлостью, как делала это жена. Она была на неё похожа выгнутыми бровями, карими глазами, малиновым ртом, изгибом кисти, которой накрывала струны.

— “Бирюзовые да золоты колечки, // эх, да расплескались да по лужку. // Ты ушла, и твои плечики // скрылись в ночную мглу”, — дочь смотрела на него, словно стараясь, чтобы он вспомнил эту цыганскую песню.

Ах, как пела жена, с какой огненной страстью, с пьянящей женственностью! И гости, наполнявшие их дом, начинали прищёлкивать пальцами, дрожать плечами, словно готовы были пуститься в лихой пляс. Он восхищался, гордился, любовался её красотой.

— “Когда ещё не пил я слёз // из чаши бытия, зачем тогда в венке из роз // к теням не отбыл я”? — этот романс на стихи Дельвига жена пела в сумерках осеннего дома, когда уже начиналась её болезнь. Не подходя к ней, из соседней комнаты он слушал её ослабевший голос и был готов рыдаться.

Теперь эти рыдания вновь подступили. Он вдруг ослабел и сник.

— Вы посидите, а я пойду в беседку, полежу, — Кольчугин покинул застолье, которое продолжало петь и смеяться.

Кольчугин прилёг в беседке, укрывшись пледом. Смотрел, как ветер дует в круглую осину, и дерево, словно огромная одноногая птица, раздувает перья, готовое взлететь. Но ветер стихал, и зелёные перья опускались, осина стихала.

Болезнь вышивала из жены соки. Жена теряла силы, худела. Беспомощно и печально зывали её тёмные большие глаза:

— Неужели я скоро умру?

Кольчугину было невыносимо чувствовать на себе её умоляющий взгляд. Она лечилась, сопротивлялась. Он доставал самые редкие, дорогие лекарства, возил её на приёмы к медицинским светилам. Она ездила в монастыри, прикладывалась к мощам, пила святую воду. Но постепенно надежда на выздоровление гасла в ней, она равнодушно, нехотя принимала лекарства и всей душой предавалась молитвам. Не об исцелении, а о том, чтобы Господь принял её к себе. Кольчугин видел, как она удаляется от него. Удаляется из жизни, словно её подхватил невидимый тёмный поток и уносит. И он не в силах её удержать.

— Господи, как я устала! — сказала она однажды.

Когда ей стало совсем невозможно, и она почти не вставала, у них в доме поселилась монашка Клавдия Сидоровна, маленькая, худенькая, как птичка, умильная и услужливая. Она всё время проводила с больной. Когда он заглядывал в комнату жены, то видел, что монашка стоит на коленях у её изголовья, читает молитвослов, а жена, в белом платочке, с неподвижными глазами слушает Покаянный канон.

Жену увезли в больницу, и пока её не было, он с Клавдией Сидоровной вечерами совершал вокруг дома крестный ход, нёс образ Спасителя, а Клавдия Сидоровна держала у груди икону Богородицы. Она пела тихим взволнованным голосом, а он послушно исполнял её указания и страстно молился об исцелении жены, троекратно крестил иконой вход в дом. Сквозь яблони светила большая осенняя луна.

— Дедуль, мы поехали, — в беседку вошла внучка Катя, нежно прижалась к нему.

— Дед, ты лежи, не вставай, — Тим-Тим протянул ему руку. Пришли прощаться внуки, сын и дочь.

— Ты звони. Если что, я сразу приеду, — дочь поцеловала его тёплыми губами, и её сходство с женой почти исчезло.

Кольчугин подумал, что сейчас сообщит им о своём намерении ехать в Донбасс, но промолчал. Он смотрел, как отъезжают одна за другой легковые машины.

Вечером позвонил подполковник Новицкий:

— Дмитрий Фёдорович, вас будут ждать в Ростове. Вылет через три дня. Вам обеспечат переход границы и доставят в Донецк.

— “Не бойся идти в Египет”, — сказал Кольчугин.

— Что, что? — не понял Новицкий.

— Это из Священного Писания. “Не бойся идти в Донбасс...”

Перед сном он подошёл к рябине, тронул её прохладную ветку. Поведал ей о своём скором отъезде. И вдруг жена вышла из рябины — высокая, статная, восхитительная, какой была в пору своего женского цветения. Её тёмные волосы стеклянно блестели. На белой шее, как драгоценные брызги, краснело фамильное гранатовое кольцо. Кольчугин благоговейно любовался ею.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Вначале это предчувствие, томление. Туман, в котором что-то плавает, возникает и исчезает. Не роман, а сон о романе. Роман уже где-то присутствует, быть может, уже написан. Но не тобой, а на небесах. И ты своими колдовскими предчувствиями сводишь роман с небес. Это и есть непорочное зачатие. Первое дуновение романа. Из этих предчувствий, из мимолётных мечтаний вдруг возникает образ романа, его зыбкий контур. Так из тумана внезапно появляется дерево, или дом, или колокольня — всё размыто, невнятно, готово исчезнуть. Но ты не отпускаешь образ. В этом образе уже уловлена жизнь, её бесчисленные проявления. Они утрачивают случайность, складываются в метафору, в которую готово поместиться множество явлений, характеров, судеб. Эта метафора объёмлет собой часть бурлящего бытия — театр военных действий или всплеск реальной истории, или родовую коллизию, или всё вместе. Ты устремляешься в эту метафору, превращаешь её в сюжет, отыскиваешь в ней своих будущих героев, выхватываешь множество драгоценных подробностей. Это может быть лишняя кабульская улица, где лежит убитый брадобрей, рядом с ним — пластмассовая чашечка с пеной, поблёскивает лезвие бритвы, а мимо, швыряя в брадобрея тяжёлыми брызгами, идут БТРы. Или горный ручей в окрестностях Сан Педро-дель Норте, синие цветы, пчелочка солдат осторожно перебредает ручей, и колеблются от их движений цветы.

— Зачатье состоялось. Роман, как дух, вошёл в тебя и поселился под сердцем. Ты переполнен будущим романом, всё твоё естество, вся твоя духовная и материальная суть обращены на крохотный, возникший в тебе эмбрион.

Вторжение в роман было подобно вторжению света в чёрную холодную гору, когда утренний луч медленно проникает в гранит, и гора, чувствуя проникновение света, начинает стонать и петь.

Первые недели работы — счастливые и мощные, когда душа, полная непочатых сил, строит роман, как своё подобие. Люди, голоса, обожание, поцелуи и ненависть. Ты создаёшь своих героев, переселяясь в них, становишься женщиной, бегущим медведем, лазурной мечетью, взорванным танком. Переливаешься в роман, как Создатель переливался в мир в первые дни творенья.

Первые месяцы ежедневной работы, мощной, уверенной, с виртуозным мастерством, когда, послушные твоей воле, возникают герои, влетают в канву романа, как разноцветные ленты влетают в половики. И движется, растёт красочная ткань. Домашняя жизнь, дети, жена, литературные встречи, ужины в шумных литературных компаниях — всё кажется мнимыми. А истинная жизнь, истинное пространство и время находятся там, в романе. И ты проживаешь эту вымышленную жизнь, как подлинную.

Роман наполовину написан. И сил почти не осталось. Истощён ум, истощена плоть... И наступают надрывные часы, когда принуждаешь себя садиться за стол. Ты уже не любишь свою работу, не любишь роман. Роман враждебен тебе. Так бурлак тащит по мелям грузённую баржу, слыша скрип донных камней, не в силах затянуть свою хриплую песню, кровеная плечо бичевой. Стол с машинкой кажется местом пытки. И находятся сотни поводов, чтобы не сесть за стол, не тронуть клавиши, не услышать металлический стрёкот.

Ты просыпаешься утром и смотришь на рабочий стол так, словно тебе предстоит вылить в ненавистный роман очередной стакан крови.

И последние дни — ужасные, как бред. Так схватываются в рукопашной. Так поднимают на деревянную рогатину свирепого зверя. Так бегут от разъярённой толпы. Каждый абзац, каждая фраза, каждая буква причиняют страдание. Роман ревьёт, словно поезд, несущийся сквозь туннель. И вот во тьме возникает круг света. Поезд выносятся из туннеля и удаляется. Роман завершён. Роды состоялись. Бессильно откинувшись, чувствуя, как болит опустевшее лоно, ты смотришь велед удаляющемуся роману. И тебе хочется зарыдать.

Всё это Кольчугин рассказывал Веронике Яблонской, которая писала о нём литературоведческую книгу и приехала побеседовать.

Кольчугин вдруг замолчал, на диктофоне краснел огонек, похожий на ягоду рябины.

— Я хотела ещё вас спросить, — робко произнесла Вероника. Кольчугин кивнул. — Ваши женские образы в самых ранних повестях и рассказах, вплоть до недавних романов, — в них угадывается одна и та же женщина. Её портрет вы пишете всю жизнь. Её чертами вы наделяете молодых невест, печальных вдов, глубоких старух, вспоминающих о своей юности. Жена рыбака, получившая в подарок разноцветное платье. Возлюбленная офицера, погибшего в Доме Советов. Балерина, потерявшая рассудок после террористического взрыва... Эта женщина, кочующая из произведения в произведение, — ваша жена?

Кольчугин смотрел на полки, где неподвижно и тесно стояли его книги. И в каждой, как забытый цветок, присутствовал образ жены. Её лицо, молодое и дивное, или туманно печальное, или рыдающее, или глядящее вдаль, за околицу, на дорогу, по которой кто-то удаляется в горячую степь... Это он уходит с котомкой в своё дальней странствие, и в осеннем дожде летит над дорогой сорока.

— Я подумала, что все ваши романы о войнах, о крушении государств, о крошечных исторических схватках — это одна, единая книга, посвящённая вашей жене. Какая же, должно быть, прекрасная была это женщина, если заслужила любовь такого человека, как вы! Ведь всё ваше творчество, — это поклонение жене.

Кольчугин видел, как дрожат её губы, умоляюще смотрят глаза. Как приподнялись в страдании её мягкие брови, хотя и не мог он понять природу её страдания. И вдруг испытал к ней нежность, мучительное обожание, благодарность за её сочувствие, доверие к ней. Ему захотелось рассказать ей о своём скором отъезде, увидеть, как потемнеют её глаза, услышать её дрожащий голос. Станет ли она думать, молиться о нём? Ждать его возвращения? А он в своём одиноком походе вспомнит ли её лицо, на котором лежит золотистый свет близкой осени? И её молитва о нём сбережёт ли его? Ответит шальную пулю и крошечный взрыв?

— Мне очень дорог ваш приезд. Рад, что мои откровения помогут вам завершить книгу. Через несколько дней я уезжаю в Донбасс. Быть может, вернувшись, я опишу эту войну, и вы добавите в вашу книгу несколько страниц.

— Боже мой, зачем вам ехать? Это безумие! Вы столько раз всё это видели. Я не пущу вас! — Это вырвалось у неё, и она спохватилась. Прижала пальцы к губам. — Простите, я не имею права. Это не мой дом. Здесь присутствует ваша жена. Простите, мне надо уехать!

Он не удерживал её. Она быстро собралась. Из окна он видел, как она спустилась в сад, села в машину. Её серебристый “Пежо” покинул стоянку под клёнами и исчез в воротах. Диктофон с ягодкой красной рябины остался лежать на столе.

Он чувствовал, что совершил грех и винился перед женой. Всё это время, что он говорил с Вероникой, жена была рядом, горько внимала его исповеди.

Он ждал сообщений от подполковника Новицкого. Надо было приготовить вещи, дорожную обувь, куртку, запас лекарств. Походный баул хранился где-то в шкафу. И надо спросить жену, куда она его закинула. “Господи, что это я”!

Сидел в кресле, слыша, как громко ухает сердце.

Болезнь снедала её. Она больше не вставала. Её мучили приступы кашля, и ему была страшно слышать, как она рвёт себе грудь, а потом без сил, с закрытыми глазами, лежит в своей комнате, прижимая к груди большую голубоватую ладонь. Дети не оставляли её. Сын купил кислородный аппарат, надевал ей маску, и она силно, жадно дышала. Монашка Клавдия Сидорова не отходила от неё. Читала акафисты и каноны, даже когда жена дремала. Несколько раз в дом приходил отец Владимир, соборовал её, и Кольчугин смотрел, как в головах жены горит тонкая свечка.

Он видел, что жена угасает, близится развязка. Неумолимая сила, поселившаяся в их доме, уводит её. И он должен кинуться к ней, обнять, удерживать, вырвать из тьмы, которая её обступает. Но он страшился этой тьмы, знал, что тьма неодолима, что нежности, слёз, молитв не хватит, чтобы удерживать её. Он словно оцепенел. На него навалился камень, который придавил его чувства, запечатал слёзы и молитвы.

В Москве открывалась книжная ярмарка. На ней было представлено собрание его сочинений — пятнадцать строгих томов в тёмно-малиновых переплётках с золотым тиснением. Презентация сопровождалась действием с участием известного художника-авангардиста. Его магические приёмы, мистерия воды и огня, кликушеские вопли колдуны должны были рассказать зрителям, как рождается художественное произведение.

Кольчугин не мог не пойти. Это был его триумф. Его ждали издатели и поклонники. К тому же жене с утра стало лучше, её отпустило удущье, и он увидел на её губах слабую улыбку. Он поцеловал жену и поехал на ярмарку.

Презентация прошла успешно. Маэстро, полуголый, с лисьим хвостом, с пылающей между ног газовой горелкой, скакал, шаманил, издавал рык. Гнал перед собой обнажённую рыжую дьяволицу, которая брызгала водой и била в бубен. И все это, к восхищению публики, символизировало рождение священных текстов. Кольчугин пил шампанское, подписывал книги, фотографировался, давал интервью.

Когда вечером он вернулся домой, жена страшно кашляла. Дети поднимали её из постели, усаживали, надевали маску. В белой ночной рубашке, она сотрясалась и задыхалась. Он подсел к ней, обнял трясущиеся плечи, и она булькающим голосом, последними, с трудом дававшимися ей словами, сказала: “Мы все должны пройти этот путь”. Он задохнулся от боли, от любви к ней. Она, умирая, утешала его, просила не убиваться. И он, чтобы не видеть его слёз, ушёл в кабинет.

Когда он снова вернулся, она лежала, закрыв глаза. Услышала, что он подошёл. Протянула к нему руки, и он вложил в них свою ладонь. Она слабо её сжала, и этим пожатием попрощалась с ним.

Они сидели молча, их руки ласкали друг друга. И в этих прощальных касаниях воскресала та зимняя звёздная ночь, когда они шли по ледяной дороге, и те серебряные рыбы, похожие на солнечные зеркала, чудесный жасминовый куст, под которым лежала их новорожденная дочь, все поцелуи и шёпоты, все отпущенные им восхитительные мгновения.

Так они сидели, а потом она разжала ладони, и он ушёл.

Ночью он услышал, как открылась дверь кабинета. Вспыхнул свет. Дочь вплыла в кабинет, не касаясь пола, глядя отрешённо, сказала:

— Мама нас покинула.

И потом два дня он провёл, как во сне. В этом сне он видел жену, лежавшую внизу, под белым покрывалом, и монашка читала над ней Псалтирь. Во сне он видел, как жену клали в гроб и несли в сад, ставили на ступля под рябиной, чтобы она могла проститься со своим домом. Во сне он видел, как отец Владимир раскачивает над её лбом с белой перевязью дымящее кадило. Тяжёлая земля грохотала по гробовой крышке, и он смотрел на последний не засыпанный землёй алый краешек гроба, а потом и тот исчез.

Поминки в ресторане. Он пил водку, глядя на её чудесную фотографию, где она с гранатовым колье, во всей своей зрелой женственности, очаровательная, с едва заметной улыбкой, смотрела на него, как живая.

Он пришёл домой и, блуждая по комнатам, увидел висящий на спинке стула её платок. Потянулся к нему и вдруг страшно зарыдал, громко, с хрипом и клёкотом, словно кто-то отвалил камень, и хлынуло скопившееся под этим камнем горе, тоска, непонимание жизни, непонимание этого мира, в который его привели, окружили любимыми, близкими, чтобы одного за другим отнимать, обрекая его на неутешное одиночество.

Раздался телефонный звонок. Вкрадчивый, вежливый голос произнёс:

— Дмитрий Фёдорович, вас беспокоят из администрации президента. Завтра в шестнадцать часов, в резиденции Ново-Огарёво вас ждёт президент. Пропуск на вас заказан.

— Меня? Президент?

— Ну, да, вы же хотели, чтобы он вас услышал. Он вас услышал и приглашает к себе.

(Окончание следует)